



Саван алой розы

АНАСТАСИЯ ЛОГИНОВА

Анастасия Логинова
Саван алой розы
Серия «Детективъ
минувших лет», книга 9
Серия «Кошкин. Сыщик
Российской империи», книга 3

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69394714
SelfPub; 2023*

Аннотация

Казалось бы, новое дело Степана Кошкина можно раскрыть, не покидая места происшествия: жертва успела своей кровью написать на стене имя убийцы. Предполагаемый злодей пойман, но вины не признает и мотива вроде бы не имеет. Но, пока полиция усиленно сей мотив ищет, Кошкину попадают в руки дневники той самой жертвы, Аллы Соболевой – милойшей дамы сорока пяти лет, вдовы респектабельного человека, уже долгие годы живущей тихо и уединенно в старой усадьбе среди розового сада. Дневники же рассказывают о временах, когда Аллу звали Розой, когда она была юна и далеко не так безобидна и благочестива, как о ней привыкли думать... Чем больше Кошкин погружается в чтение, тем больше для него очевидно – простым расследование этого дела точно не будет.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Кошкин	7
Глава 2. Роза	20
Глава 3. Кошкин	25
Глава 4. Саша	32
Глава 5. Кошкин	45
Глава 6. Роза	63
Глава 7. Кошкин	75
Глава 8. Саша	94
Глава 9. Кошкин	119
Конец ознакомительного фрагмента.	125

Анастасия Логинова

Саван алой розы

Пролог

*август 1866, Российская империя, Санкт-Петербург,
«Новые деревни», что на Черной речке*

В увеселительном саду Излера вино текло рекой, звон гитар не умолкал ни на минуту, а прямо сейчас Роза глядела, как высоко, до самых небес, прыгают акробаты. Она плохо их видела: глаза застилала слезы. Вдруг справа огненным шаром взорвался фейерверк, и Роза вздрогнула. Золотые и серебряные искры еще долго осыпались под возгласы ликующей толпы.

А небо совсем черное, должно быть, уже за полночь. Роза огляделась в поисках кого-то из знакомых, чтобы спросить, который час, но никого так и не нашла. Все ее бросили. Все.

Муж, с которым месяц назад ее обвенчал лютеранский пастор, который клялся ей в любви и верности, который увез ее от отца и матери – он первым и бросил. Сбежал с этой актрисой, с Журавлевой – Роза не сомневалась. Они исчезли нынче утром, оба, никого не предупредив – какие тут могут быть сомнения? Тем более Шмуэль сам ей признавался, что прежде был в клятую Журавлеву влюблен, да она отказала

ему. Теперь согласилась, должно быть...

От друзей же Шмуэля, у которых они остановились здесь, на дачах возле Черной речки, Роза другого и не ждала. Один стихоплет, второй художник. И оба политические разговоры каждый вечер заводят, ругают царя и превозносят народников. Горячо обсуждают книжки Бакунина и во всем с ним соглашаются. Должно быть, по кабинетам уже заперлись с девицами, а про нее забыли. Все про нее забыли.

Глядя как в ночном небе снова опадают золотые искры фейерверка, Роза вдруг совершенно четко осознала: она совершила ошибку. Огромную ошибку. Ошибку, которая будет стоить ей не только репутации... а, скорее, и жизни.

Роза уже не заботилась, что ее слезы кто-то увидит. Продираясь сквозь пьяную толпу, совсем не по-девичьи работая локтями, она выбиралась прочь, туда, где не слышно смеха, и нет этих проклятых вспышек. Снова огляделась. Она бы жизнь сейчас отдала, чтобы к ней вышел Шмуэль. Она бы все ему простила тотчас! Но его не было. Только набережная над Черной речкой.

Выбрав участок у самых перил, где поменьше влюбленных парочек, Роза тяжело оперлась на кованую решетку и разрыдалась в голос. Никто не обратил внимания. Рыдающие девицы в увеселительном саду Излера – дело обычное, всем давно наскучившее.

А вода в реке и правда совершенно черная, густая. Смердная. Глебов, стихоплет, говорит, в ней все городские сточ-

ные воды соединяются, оттого и прозвали так. Вязкая речка. Как варенье, которым маменька начиняет бейглы. Не суждено Розе больше увидеть ни маму, ни папеньку, ни братьев. И не сказать им, как сильно она ошиблась.

Роза перегнулась сильнее через кованную решетку, зажмурилась, готовая оттолкнуться туфелькой от мостовой. Хоть бы не помешал никто...

Глава 1. Кошкин

*сентябрь 1894, Российская империя, Санкт-Петербург,
Здание Департамента полиции*

Стук в дверь не застал Кошкина врасплох: он этого визита ждал. Тотчас подскочил со стула, оправил китель, пятерней пригладил соломенного цвета волосы. Про себя чертыхнулся, что слишком старается и опять походит на двадцатилетнего мальчишку – неловкого и неуверенного. Не чаявшего когда-то занять высокую должность и этот кабинет в доме №16 по набережной Фонтанки¹.

И все же к моменту, когда дверь отворилась, сумел взять себя в руки. Встретил гостью легкой улыбкой и по-настоящему светским поклоном:

– Лидия Гавриловна, весьма вам рад!

Прозвучало все же куда менее официально, чем он собирался произнести. Взялся за ее ручку, обтянутую лайковой перчаткой, но поцеловать не решился, только дружески пожал.

Она рассмеялась:

– И я вам рада, Степан Егорович. Очень соскучилась по вам, очень!

Лидия Гавриловна коснулась его плеча, потом потянулась

¹ Здание Департамента полиции в Санкт-Петербурге

и легко поцеловала в щеку. Они немало пережили когда-то вместе и, пожалуй, это было уместно. Но все же Кошкин почувствовал, как к месту поцелуя приливает кровь.

– Присаживайтесь, Лидия Гавриловна, чаю? – вновь засуетился Кошкин. – Или... право, стоит пригласить даму, о которой вы говорили? Негоже заставлять ждать в приемной.

– Та дама приедет позже. Я пригласила ее с таким расчетом, чтобы прежде успеть поговорить с вами *tête-à-tête*. И да, от чая я не откажусь.

Лидия Гавриловна, не тушуясь, с интересом осматривалась в кабинете. Прошлась до окна, разглядывая корешки деловых папок в застекленных шкафах; стрельнула острым взглядом на стол с разложенными там государственными документами. Потом замерла над шахматной доской в углу и позволила себе замечание, что белому «слону» следует пойти на F5 – тогда, через три хода, он поставит «мат» черному «королю».

– Белые – фигуры графа Шувалова, – мягко отозвался Кошкин. – Но я непременно передам ему вашу подсказку.

– О, так Платон Алексеевич заезжает к вам? В этом случае, лучше подумайте, как спасти черного «короля», – заметила Лидия Гавриловна, и, то ли Кошкину показалось, то ли она и впрямь подмигнула ему.

Но потом, наконец, смирила свое любопытство и устроилась на софе, в зоне для посетителей справа от письменного стола. Как бы там ни было, волнение Кошкина спало. На-

точно, что ли, она повела себя столь беспардонно? Распорядившись о чае, Кошкин куда менее напряженным вернулся в кабинет и сел в кресло напротив. Спросил:

– О чем же вы хотели поговорить?

Он не сомневался, что последует некая деликатная просьба – однако, взгляд Лидии Гавриловны потеплел, и она просто сказала:

– О вас. Я наслышана о вышей ссылке в Екатеринбург, о ранении... обо всей этой ситуации со Светланой Дмитриевной.

Со Светланой Дмитриевной его гостья едва ли была знакома – и все же Кошкин был благодарен ей уже за то, что она называет ее по имени, а не «той женщиной» – с холодком в голосе и явным осуждением, как все прочие и даже его мать.

– Если я, или мой супруг сможем чем-то помочь, чтобы разрешить эту ситуацию, – с пылом продолжала Лидия Гавриловна, – вам стоит лишь сказать. И, разумеется, мы всегда рады принять вас со Светланой Дмитриевной в нашем доме. У Андрюши, моего сына, на будущей неделе именины: надеюсь, вы окажете нам часть.

– Сколько ему?

– Будет пять.

Лидия Гавриловна, поискав в ридикюле, тотчас предъявила семейную фотокарточку. Не слишком приветливый на вид, как всегда, ее супруг, Евгений Иванович, девчушка лет восьми, отчаянно похожая на Лидию Гавриловну, и маль-

чуган с бескозыркой в черных буйных кудрях и открытым живым взглядом. Кошкин невольно улыбнулся.

– Я имела неосторожность рассказать Андрюше, что вы служите в полиции, и теперь он о вас только и говорит. Уверен, что у вас чрезвычайно интересная служба!

– О да, – скептически отозвался Кошкин. Помрачнел еще больше, когда понял, что придется сказать: – я буду рад поздравить вашего сына, однако не думаю, что сумею сделать это лично. Светлана Дмитриевна никуда не выезжает. По крайней мере, пока не будет оформлен ее развод.

Помрачнела и Лидия Гавриловна. Но твердо выразила надежду, что Светлана Дмитриевна передумает. Кошкин поблагодарил – и сказал уже искренне:

– Я бы не хотел подставлять вашу семью под удар. Вы и так много для меня сделали: я знаю о ваших письмах к Платону Алексеевичу, о просьбах выволить меня из Екатеринбурга. Он рассказывал, вы писали ему даже из Парижа.

– Жаль, что я узнала о вашей ссылке слишком поздно. Возможно, сумела бы повлиять на дядюшку еще прежде всей этой ужасной истории...

– Я благодарен вам безмерно! За все, – Кошкин почтительно склонил голову. Улыбнулся: – но, боюсь, вы думаете о моем пребывании в Екатеринбурге куда хуже, чем оно было на самом деле.

– Подозреваю, что и вы думаете о моем пребывании в Париже лучше, чем оно было на самом деле.

– Что ж, очень может быть. До меня доходили слухи, что вы уже возвращались ненадолго летом 1891. Смею надеяться, в этот раз вы вернулись навсегда?

Лидия Гавриловна отвела взгляд и неопределенно дернула плечом. Кошкин понял, что затронул болезненную тему. Вероятно, пребывание ее семьи в Париже и впрямь не было увеселительной поездкой. Но о подробностях, о делах ее мужа, Кошкин спрашивать не решился: это были тайны совсем иного рода.

– Дядюшка пожелал увидеть Софью и Андрюшу, моих детей, в июне этого года, и выписал нас в Санкт-Петербург. Право, не думаю, что это надолго.

Кошкин кивнул. Он знал, что здоровье дяди Лидии Гавриловны, графа Шувалова, в начале этого года дало сбой, и худо было настолько, что тот поддался врачам и весеннее межсезонье провел в Крыму, на водах. Видимо, в том и кроилась причина возвращения в Санкт-Петербург единственных его родных на этом свете.

– Мы живем там же, Степан Егорович, на Малой Морской, – продолжала Лидия Гавриловна, убирая фотокарточку в ридикюль и невзначай сверяясь с часами. – Евгений Иванович много работает, а я часто прогуливаюсь с детьми в Александровском саду и именно там познакомилась с дамою, о которой говорила вам прежде – Александрой Васильевной Соболевой. Моя Софи такая непоседа, оглянуться не успеешь, как она заведет новое знакомство. На сей раз вы-

брала в подруги племянницу Александры Васильевны. Подружились и мы: Александра Васильевна безмерно приятная дама. А в мае этого года в ее семье случилась беда. О том много писали в газетах, и до сих пор пишут – вы и сами, должно быть, наслышаны?

– Банкир Соболев, кажется? Да, я читал, разумеется, но, право, подробностей не знаю.

Лидия Гавриловна отнеслась с пониманием: этим летом у Кошкина и своих проблем было достаточно.

– Соболевы – семья богатая и чрезвычайно влиятельная, – пояснила она. – Купцы первой гильдии, банкиры и золотопромышленники. Конечно, о вопиющем убийстве матери Дениса Соболева газетчики еще не скоро забудут...

Лидию Гавриловну прервал стук в дверь секретаря Кошкина: посетительница, которую они так ждали, пришла минута в минуту.

– Я знаю, что полиция провела расследование, но все же Александра Васильевна хотела бы провести и свое. И спросила, не могу ли я посодействовать... Право, я ничего ей не обещала, решение оставила за вами. И осмелилась обратиться к вам только потому, что у Александры Васильевны и впрямь есть некоторые сведения, которыми она хочет поделиться именно с проверенным человеком – не со всей Петербургской полицией. Я же сказала, что вам она может довериться всецело.

Кошкин был удивлен, что, пригласив посетительницу и

представив их друг другу, Лидия Гавриловна участвовать в беседе отказалась. Распрощалась и ушла. Кошкин же на ее место на софе предложил сеть этой даме, Соболевой, и постарался сосредоточиться на разговоре.

* * *

Даме было около тридцати на вид. Может, больше, может, меньше – у женщин ее типа Кошкин всегда с трудом определял возраст. Худощавая, с острыми скулами, тонким, но крупным с горбинкой носом и копной черных кучерявых волос под маленькой скромной шляпкой. А еще с томными, выразительными глазами, по которым Кошкин всегда безошибочно узнавал представителей одной-единственной нации. Не очень-то уважаемой в Российской империи, но сам он, повидав к тридцати шести годам разных людей всяких сословий, давно уж знал, что по нации о качествах человек судить нужно в последнюю очередь.

Что же касается женщин, то их, будучи даже фактически несвободным мужчиной, Кошкин (не мог ничего с собой поделаться) оценивал по одному единственному критерию. И Александра Васильевна была, прямо сказать, женщиной невзрачной. Совершенно невзрачной. И ее невообразимо скромный наряд, черный и траурный, это только подчеркивал. Право, если бы не знал, что сия дама из банкиров Соболевых, принял бы ее за горничную в семье среднего достатка.

Манера себя держать, вести разговор и все больше смот-

реть в пол, лишь изредка поднимая свои большие темные глаза в поисках одобрения да поддержки, тоже не выдавала в ней принадлежности к семье банкиров.

Разве что речь ее была совершенно не похожей на разговор горничной: голосок оказался хоть и робким, но мелодичным и совершенно девичьим, а произношение грамотным, обремененным непростыми словесными оборотами.

– Моя матушка много лет, еще до смерти папеньки, жила на нашей прежней даче, что на Черной речке, где Новая Деревня, знаете? – Александра Васильевна подняла на него несмелый взгляд.

Кошкин машинально кивнул.

– Для летнего времяпрепровождения мой брат, Денис Васильевич, приобрел участок земли возле Терийок и отстроил там прекрасный дом – но матушка в том доме никогда не бывала. Говорила, что любит старую дачу на Черной речке, что там ее сад и ее великолепные розы, которые в нашем северном климате буквально ни одного дня не смогут прожить без ее забот.

– Что же – ваша матушка сама ухаживала за розами? – изумился Кошкин.

– Да, матушка не чуралась возиться с землей – ей это нравилось. Но конечно же в ее распоряжении имелись и садовники... – Александра Васильевна в очередной раз поправила и без того аккуратную манжету на рукаве, потом одернула себя и, не зная куда деть руки, в конце концов сжала их в замок

– крепко, до натянутой ткани на костяшках пальцев. – Уже два года ей помогал молодой человек, пришлый, из финнов. Его имя Йоханнес Нурминен. Ганс – как звала его матушка. Матушка всегда хвалила Ганса и отзывалась о нем очень тепло... Помогала деньгами, даже взяла в кухарки его сестру с больной дочкой, из жалости. Так вот, четыре месяца назад, в мае, маму... – Александра Васильевна еще крепче сцепила пальцы и ниже наклонила голову, говоря буквально через силу, – маму нашли мертвой в той злополучной усадьбе. Кто-то разбил ей голову, очень сильно ударил... она смогла убежать, спрятаться в подсобном помещении – в садовничкой. Закрылась там изнутри на все замки и... ждала помощи. Но помощь так и не пришла. Мой брат, Денис Васильевич, забеспокоился первым и поехал навестить матушку. И нашел ее уже мертвой. А на стене мама написала, кто это сделал.

– Она написала имя?

– Только первую букву имени – «Г». Дальше неразборчиво. Но полиция, как только узнала про Ганса, тотчас решила, что она хотела написать его имя, но не успела.

Кошкин теперь удивился, почему сказанное этой женщиной так сильно расходится с тем, что он об этом громком деле слышал. Он действительно не вникал в суть расследования, пока оно велось, но из того, что читал в газетах и слышал в кулуарах, было очевидно – полиция сыскала душегуба, и никаких сомнений нет, что виновен именно он. По словам же этой невзрачной дамы выходило, что коллеги Кошкина

схватили чуть ли не первого встречного. Что-то здесь не так. И Кошкин, признаться, гораздо более был склонен доверять своим коллегам, а не этой женщине.

– Надпись на стене – единственное доказательство против Ганса? – придирчиво спросил он.

И женщина явно очень нехотя выдавила:

– Нет. Кто-то забрал деньги, дорогие картины и ювелирные украшения из маминых комнат. И тогда полиция решила, что Ганс снова стал требовать у матушки денег, та отказала, и он ударил ее. А когда матушка убежала и заперлась, то Ганс якобы вошел в дом и ограбил его. Но это абсурд! – Александра Васильевна еще раз подняла на Кошкина глаза, в которых теперь стояли слезы. – Во-первых, я часто бывала у мамы, я знаю Ганса – он не позволил бы себе ничего подобного! Требовать... боже мой, только не он! А во-вторых, матушка никогда ему не отказывала прежде. Она и сладости раньше передавала малышке Эмме, его племяннице, и мои детские игрушки, и одежду! Отчего бы она вдруг отказала? Матушка не была алчной женщиной! Ну а в-третьих, я сама, своими глазами видела ту надпись на стене, и мне показалось – хотя вторая буква начертана крайне неразборчиво, а третья и вовсе не читаема – что там явно значится «Гу», а не «Га». «Меня убил Гу...» – так написала матушка! И всё же мои доводы полиция не услышала: Ганса схватили и арестовали. Скоро состоится слушание в суде, а потом... его повесят.

Александра Васильевна опять опустила глаза в пол, а ее

пальцы, сцепленные в замок, мелко подрагивали.

– Вам жаль этого парня? – спросил Кошкин.

– Да, мне жаль его. Этот же вопрос мне задал следователь в ответ на мои многочисленные доводы, а после спросил с отвратительным снисхождением, замужем ли я.

Кошкин тотчас устыдился, потому как собирался задать точно такой же вопрос. Замужем Александра Васильевна, очевидно, не была, причем, скорее, ходила в девицах, чем во вдовах.

Смущаясь собственных слез и быстро их утирая, женщина вдруг начала говорить тверже и настойчивей:

– Но дело не в жалости или сочувствии! Я бы ни за что не явилась сюда, не отважилась бы еще раз пройти через все унижения – если б у меня не появились доказательства.

Не дав возразить, она тотчас раскрыла объёмный риди-кюль, скорее даже чемоданчик, что прежде стоял у ее ног. Оттуда дама извлекла внушительную стопку толстых тетрадей – не ученических, а истинно девичьих, с разрисованными акварелью обложками и старательно выведенными вензелями – и придвинула их Кошкину через стол.

«Дневникъ Розы Бернштейнъ. Апрельъ – сентябрь 1866 годъ», – было выведено чернилами на обложке.

– Это дневники мамы, она вела их всю жизнь.

– Разве вашу матушку звали Роза Бернштейн? – усомнился Кошкин.

– Да... то есть, чтобы выйти за отца, матушка приняла

православие и сменила имя: по закону она звалась, разумеется, Аллой Яковлевной Соболевой. Однако дома ее по-прежнему звали Розой. А сама она представлялась чаще девичьей фамилией – говорила, что по старой памяти...

Объяснение показалось Кошкину странным, да и сама Алла-Роза удивляла все больше. Но опомниться ее дочка времени не дала: Александра Васильевна говорила теперь быстро и неожиданно напористо:

– Здесь не все дневники, а только те, что я успела перевести: мама... не получила должного образования, она неважно знала русский и писала на странной для вас смеси русского и идиша с некоторыми употреблениями иврита. Матушка была с детства крещеной лютеранкой, как и мой дед, Яков Бернштейн. Однако воспитание и образование ее было домашним, и учила ее, по большей части, моя бабушка – а она иудейка, – Александра Васильевна снова ниже наклонила голову, будто в самом деле боялась осуждения. – Словом, я сочла за лучшее поверх текста добавить перевод. Старалась писать как можно разборчивей, но, если вы не сможете прочесть что-то, выписывайте на отдельный лист, при следующей встрече я все поясню.

– При следующей встрече?..

Кошкин с замешательством глядел на стопку тетрадей, только теперь осознав, что эта женщина пытается заставить его прочесть их все...

– Да, мне нужно будет передать вам остальные дневники

– их примерно столько же. Если, разумеется, вы не против
взяться за это дело... – Александра Васильевна сникла, тон-
ко угадав его настрой. Голос ее вновь стал робким да несме-
лым: – Лидия Гавриловна предупредила, что вы можете от-
казаться, и, разумеется, настаивать я не посмею. Но, молю
вас, Степан Егорович, прежде чем отказываться, прочтите
записи мамы! Я прочла их все – и пришла в ужас... В дневни-
ках имеются некоторые компрометирующие мою семью све-
дения, и первым моим порывом было их сжечь! Возможно, я
еще и пожалею, что не сделала этого... И все же я прошу вас
прочитать дневники мамы, потому как в них в больших по-
дробностях описана жизнь человека, который имеет гораз-
до больше причин желать маме смерти, чем ее садовник. А
главное, зовут этого человека Гутман. Шмуэль Гутман. Ма-
ма... была знакома с ним в молодости. А в последнем днев-
нике – право, я еще не перевела его, но твердо запомнила ее
слова. Буквально за неделю до гибели – и это была последняя
ее запись – мама пишет, что увидела призрак из прошлого,
свой самый страшный кошмар. Она боялась этого человека,
Шмуэля Гутмана. И в дневниках подробно описано почему.

Глава 2. Роза

август 1866

Роза ничего не слышала, кроме своего сбитого дыхания, и ничего не видела, кроме вязких черных вод там, внизу, за перилами, на которые она опиралась.

«Хоть бы не помешал никто...» – настойчиво твердила она про себя, но сделать последний решающий шаг все не хватало духу.

И вдруг, очнувшись, осознала, что ей как раз мешают. Не Шмуэль, нет. Какие-то незнакомые люди толпятся рядом, льнут к ограждениям набережной. Но занимает их не сама Роза, а нечто другое, на что они смотрят, указывая пальцами и причитая. Проследила за их взглядами и Роза. Оглянувшись туда же, на страшную Черную речку – но не вниз, а назад по течению. Там, под низким пешеходным мостком, качалась на волнах лодка, к коей и было приковано всеобщее внимание. А в лодке белело что-то, в чем Роза, не веря своим глазам, угадала очертания нагого женского тела.

Поддавшись порыву, Роза вдоль перил направилась ближе к пешеходному мостку. Огибая зевак и не отрывая глаз от зрелища. Все еще надеясь, что ей почудилось... но нет.

Девушка со скрещенными на груди руками, с лицом, обращенным в ночное небо, действительно лежала на дне лодки. На груди ее покоилась роза на длинной ножке, будто рассе-

кающей белоснежное тело надвое. Те же розы, алые и белые, со старанием были разложены по обе стороны от девушки, ими же обрамили ее лицо, их же вплели в волосы. Волосы у девушки были красивыми – длинные, подвитые и разложенные веером на подушке из роз. Волосы были золотистыми, того же редкого оттенка, что и у актрисы Журавлевой.

Так это часть представления?..

Вероятно, что да.

Это было чересчур даже для сада Излера, но Роза вполне допускала, что здешние устроители могут опуститься и до такого бесстыдства. Тем более что зрители, отойдя от шока, уже перешли на привычные им веселые возгласы и смех. А самые смелые да пьяные принялись выкрикивать сальные шуточки, обращенные к девушке в лодке. Называли ее красоткой, просили пойти к ним и обещали угостить вином.

А Розе все не верилось. Это действительно актриса Журавлева? Надменная, острая на язык красавица, с которой Роза до сих пор боялась оставаться наедине в комнатах? Неужто Глебов позволил ей участвовать в подобном?!

Роза, вглядываясь в ее лицо, все пробиралась и пробиралась вперед. И снова упустила момент, когда настроение обитателей увеселительного сада переменилось. Какой-то пьяный смельчак, подначиваемый товарищами, спустился воду, доплыл до лодки. Бесстыдно склонился над Журавлевой, приподнял ее голову над ложем из цветов и под всеобщий одобрительный гомон напоказ поцеловал ее в губы.

Та не пошевелилась.

А смельчак, замерев на миг, вдруг уронил ее обратно. Голова девушки неестественно завалилась на бок. Смельчак отринул, будто ошпаренный.

– Да она мертвая!.. – пронесся над Черной речкой его истеричный выкрик.

– Роза! – рассек гул толпы такой родной голос Шмуэля.

Он ищет ее!

Роза очнулась и тотчас принялась оглядываться, наугад продираться сквозь толпу дальше от набережной, пока – из бесконечного людского потока к ней не выбросило Шмуэля.

Тот действительно искал ее, сходу крепко ухватил за плечи, прижал к себе.

– Куда ты подевалась? Я всюду искал?!

– Я была с Глебовым и Лезиным, а потом они...

– Не важно, идем скорее.

Шмуэль бесцеремонно перебил, схватил ее за локоть еще крепче и чуть не волоком потащил прочь.

– Постой... я не успеваю... – Роза, обутая в тесные туфли, вдруг подвернула ногу и в голос вскрикнула. Слезы уже стояли в голосе. – Куда мы спешим? И где ты был? Я думала, ты уехал с Журавлевой – после того, что ты наговорил, я именно так и думала! И что с ней, скажи на милость, она... мертва?

– Не знаю! – теряя терпение, сдерживая бушующие эмоции, огрызнулся молодой муж. – И прошу тебя, поторопись, нам нужно ехать.

– Куда?! Постой, у тебя кровь?..

Роза обомлела, а сердце ухнуло куда-то вниз. На его щеке и правда была кровь – порезы. Как от ногтей.

– Пустое. Ветками посек лицо, пока скакал на лошади, – он тащил ее за руку, даже не обернувшись.

– Куда скакал? Да постой же! – Роза, взбешенная недо-молвками, из последних сил дернула руку, вырвалась. – Я не пойду, покуда ты мне все толком не объяснишь!

Он остановился наконец-то, обернулся, тяжело вздохнул. Снова прижал Розу к себе, и взял ее лицо в ладони, как делал прежде, перед тем, как ее поцеловать.

– После, после, милая, все объясню. Нынче некогда. Просто поверь мне. Ты веришь?

Роза не верила. Сердце, кажется, вовсе перестало биться после этого озарения, но Роза действительно ему не верила. Давно уже. С тех самых пор, как пожалела, что сбежала с ним, предала родных и обвенчалась тайком, как преступница. А теперь еще и это. Журавлева мертва – а у него кровь от ногтей на щеке.

– Это ты убил ее, Шмуэль? Ты? – спросила она без голоса.

А хуже всего, что он не сумел ничего ответить. Побледнел. Отступил на шаг. Даже железную хватку на ее плече ослабил. Попытался сказать что-то – да тут новый окрик по имени заставил Розу оглянуться.

Она ахнула, чуть не осев наземь. Худший из ее кошмаров сбывался на глазах. Ах, отчего она не бросилась в реку, по-

куда была возможность...

Трое всадников во весь опор спешили к ним. Не иначе и Шмуэль больше боялся их, чем прямого вопроса Розы. Один из всадников, не сбавляя ходу, не слушая протестов Розы, схватил ее и, будто мешок, бросил поперек седла. Не останавливаясь, ни сказав и слова, поскакал прочь.

Двое других остались с ее мужем. Только краем глаза она усмотрела, как те спешились, и один грубо толкнул его в грудь, отчего Шмуэль завалился на спину...

Глава 3. Кошкин

Горничная заглянула, чтобы позвать в столовую, и Кошкин, машинально кивнув, с чистой совестью отложил дневник Розы Бернштейн в сторону. Устало потер переносицу.

– Удружила, Лидия Гавриловна... – беззлобно проворчал он в пустоту.

Еще раз оценил взглядом стопку девчачьих тетрадок и подумал, что рехнется, когда прочтет их все. Ему и разговоров с младшей сестрой, с Варей, хватало, чтобы пресытиться дамскими интересами, а эта Роза Бернштейн даже Вареньке давала фору. Дневники сей дамы, тогда еще совсем юной, сплошь состояли из перечисления, блюд, рецептов по их приготовлению, советов по наведению красоты и пошиву платьев. Изредка они перемежались поучениями матушки и смешными, наивными рассуждениями о них самой Розы. Столь же эмоциональны и смешны были рассказы о визитах многочисленной родни, друзей да пустые сплетни о них. Еще реже встречались бессвязные цитаты из Торы, но в этом Кошкин вовсе ничего не понимал и только морщился.

В целом, Роза представляла на страницах девицей до крайности наивной, поверхностной и неглубокой – но эмоциональной и порывистой. Из тех, кто прежде делает, а потом думает. Много думает, переживает, мучается, не спит ночами – а после совершает ровно ту же ошибку.

Гутман, он же Шмуэль, которого дочка Розы прочила в убийцы матери, приходился Розе мужем. Первым мужем. Или вовсе мужем незаконными, ежели брак с ним удалось расторгнуть так легко. В июле 1866 Роза, по ее собственному признанию, сбежала со Шмуэлем из родительского дома, а в сентябре уже сделалась женой Василия Соболева.

Факт первого ее замужеством был скандальным, это да. Учитывая статус самого Василия Соболева – особенно скандальным. Да и что стало со Шмуэлем Гутманом, Кошкин пока не знал, но, право, все это случилось двадцать восемь лет назад и давно поросло быльем. Где бы нынче тот Гутман ни был (да и жив ли он вообще), до крайности сомнительно, что он бы стал ждать двадцать восемь лет, чтобы отомстить Розе Бернштейн. За что ему ей мстить, спрашивается? За то, что бросила и вышла за другого? Право, сюжет для дамского романа.

Нет, все проще и куда менее романтично. Садовник Ганс Нурминен, либо будучи пьяным, либо просто не рассчитав сил, ударил хозяйку по голове, а после ограбил. Историй подобных, в различных вариациях, Кошкин за годы службы повидал десятки.

Следовало бы отказать Александре Соболевой еще там, на Фонтанке... но Кошкин отчего-то не стал торопиться. За чем-то взял дневники и теперь, супротив воли, читал, зная, что дочитает их все.

И, разумеется, он отметил тот эпизод – представление в

увеселительном саду с нагой девушкой в лодке, свидетельницей которого стала Роза. Действительно ли это было представление? Кошкин подумал, что нужно будет непременно поднять архив уголовных дел за 1866 год...

А пока, встав из-за рабочего стола, потушив лампу, он накинул сюртук и поспешил в столовую. Негоже заставлять Светлану ждать.

* * *

Но она не упрекнула его, конечно – его ангел. Светлану Дмитриевну Раскатову (все еще Раскатову), графиню, венчанную жену другого, сбежавшую к нему, к Кошкину, с одним чемоданом, да так и оставшуюся, несмотря на все протесты, сложно было назвать ангелом. Пожалуй, что и невозможно. Но для Кошкина она именно им и была.

Тихая, умиротворенная, всегда улыбчивая, а чаще и веселая – несмотря на преступное свое положение, она ни словом, ни делом ничего от Кошкина не требовала. Даже не просила. Ни узаконить их отношения, ни посодействовать разрыву предыдущих. Разговор о разводе всегда заводил он сам, а Светлана либо горячо поддерживала, если предложенный выход ей нравился, либо молчала, склонив голову, и тогда Кошкин понимал, что на это Светлана не пойдет. А после, обвив его шею руками, она всегда говорила:

– Право, мне все равно как это разрешится, и разрешится ли вообще. Уж мне-то не знать, что свет лжив да обманчив – все держат любовниц. А благовоспитанные дамы частенько

изменяют мужьям. И ничего, мир не рухнул. Если Володя не даст мне развод, то стану жить у тебя просто так. Как кошка.

И тогда оба они, соприкоснувшись лбами, тихонько смеялись над забавным ее сравнением.

– Неужто думаешь, я по визитам и выездам скучаю? – продолжала, отсмеявшись, Светлана. – Век бы их не видела! Надоели все до смерти. Разве что по театру скучаю немного. Я люблю театр, ты знаешь.

Дочка популярного в прошлом литератора, давшего ей столь необычное имя, выросшая в богемной среде, вольнодумная, смелая, острая на язык, несколько распушенная даже – Светлана и впрямь ценила искусство.

В театр да на выставки они не часто, но выбирались. Их узнавали, конечно, шушукались, строили постные мины в ответ на почтительные приветствия Светланы. А ей и правда было как будто все равно – не трогало, а, скорее, забавляло.

Со Светланой было легко. И тепло. Пожалуй, что это лето, проведенное ими вместе, в Петербурге, было самым счастливым в жизни Степана Егоровича Кошкина. Да, он был счастлив полностью и безоговорочно.

Если и омрачало его что-то, так это невеселые думы о будущем...

– Получила сегодня письмо от Наденьки, – поделилась с ним Светлана нынче за ужином.

– О, – в самом деле удивился Кошкин, – какие новости у Рейнеров, как дети, не хворают ли? Как Григорий Романо-

вич?

– Вероятно, что неплохо, иначе бы Надя мне непременно сообщила. Ты же знаешь сестру: ничего толком не расскажет, только жалуется, что Володя снова им писал и требовал меня урезонить. Чтобы, мол, домой вернулась. Вот Надя и пишет. Говорит, что мой дурной поступок доводит ее до мигреней и может плохо сказаться на карьере Григория Романовича. Да больше преувеличивает, конечно, Надюша всегда была капризной.

Кошкин промолчал, ибо опасения Наденьки о карьере мужа и впрямь были справедливыми. Да и в мигрень Нади верил, чего уж там. А потому, собравшись, озвучил то, чем были заняты его мысли:

– Нынче на Фонтанке я имел разговор с одной барышней...

– Мне начинать ревновать? – прищурила смеющиеся зеленые глаза Светлана.

– Нет, что ты. Барышню зовут Александра Васильевна Соболева...

– О, – глаза Светланы округлились, она отложила нож и вилку, с интересом внимая Кошкину. – Сестра банкира Дениса Соболева? Разговор касался ужасающей кончины их матери, не так ли? Я читала об этом в газетах, просто кошмар! Писали, что во всем виновен ее собственный садовник, но я ничуть этому не верю. Столько странностей в этом деле. Как славно, что теперь расследованием займешься ты!

– Ничего славного. И не факт, что я вовсе буду просить доверить мне расследование.

Признаться, Кошкин был обескуражен, что и Светлана уверена отчего-то в невинности этого Ганса. Что за похититель дамских сердец!

– К тому же я склоняюсь, что виновен именно садовник, и неувязок в расследовании не вижу – покамест, по крайней мере. Меня заботит другое, Светлана. Расследование убийства матери Дениса Соболева заставит меня так или иначе взаимодействовать с Денисом Соболевым. И не мне тебе рассказывать, кто он таков, и какие связи имеет. Думаю, поведи я себя правильно... он мог бы посодействовать твоему разводу. Но прежде я хочу знать, что об этом думаешь ты.

– Светлана, уже не глядя на него смеющимся взглядом, и даже не глядя вовсе, склонив голову, неуверенно повела плечом.

– Наверное, ты прав. Только... я не хочу, чтобы это твое «правильное поведение» с Соболевым означало, что ты возьмешься за расследование и станешь делать все, как велит он. Не нужно вгонять себя в новую кабалу – из-за меня. Я и так не могу простить себе твоей ссылки на Урал.

– Отчего ты решила, что из-за тебя? Если я и сделаю это, только ради себя самого: хочу быть женатым на любимой женщине.

Светлана расцвела в нежной улыбке.

– К тому же я пока что ничего никому не обещал. Лишь

подумываю съездить на место, где все случилось, да погрузиться в это дело чуть сильнее, чем на уровне сплетен и газетных статей.

О дневниках Розы он, впрочем, упоминать не стал. Хотя в беседе с Соболевым тайны, доверенные Розой бумаге, могли бы сыграть огромную роль.

Глава 4. Саша

Саша до сих пор не знала, правильно ли сделала, отдав дневники матери этому Кошкину. Фактически открыв ему все тайны их семьи. О Кошкине хорошо отзывалась Лидия Гавриловна, успевшая стать Саше подругой, – и это, пожалуй, был единственный аргумент.

Саше просто не к кому было обратиться: в достаточно узком круге ее знакомых ни одного сыщика не имелось. Не имелось даже тех, кто с сыщиками был хотя бы отдаленно знаком...

Быть может, стоило довериться братьям – Денису или Николаше. Но они бы просто не поняли ее и ее сомнений! А дневники мамы, вероятно, и вовсе сожгли. У Дениса бы точно рука не дрогнула, знай он, какие тайны хранят в себе те записи. Оба брата Александры, такие разные внешне и внутренне, как один были уверены, что в смерти мамы виноват Ганс. Доводов против они даже слышать не хотели. Братья любили ее, конечно: у них дружная и сплоченная семья. И все-таки Саша догадывалась, что братья считали ее глуповатой.

Оно так, конечно, и есть: Саша никогда не хватала звезд с неба.

Образование она получила домашнее и, несмотря на статус их семьи, довольно скромное. Батюшка, пока был жив,

уверял, что девушке оно и ни к чему, достаточно уметь читать, писать и считать. Для девушки же хорошо образованной важно еще играть на каком-нибудь музыкальном инструменте и знать хоть сколько-нибудь французских слов. Он человек старой закалки. Он в самом деле так думал, полагая, что от наук у девушек только портится характер.

С самого раннего детства, сколько себя помнила, за Сашей ходила баббе-Бейла – бабушка по материнской линии. Отцу это не нравилось, он был против – и все же мирился до поры. Потом приставил к Саше гувернантку. А как баббе-Бейла умерла, поручил ее той гувернантке уже всецело.

Мадемуазель Игнатьева, очевидно, придерживалась схожих с батюшкой идей насчет женского образования, ибо проявляла куда больше усердия в обучении ее музицированию, чем письму или счетам. Александре же фортепиано категорически не давалось.

– Руки у тебя деревянные, а пальцы короткие и толстые, как у мясника! Девочка не должна быть такой! – злилась мадемуазель Игнатьева и больно ударяла деревянной указкой ученицу по этим самым пальцам, лежащим на клавишах.

С тех пор Саша приобрела привычку прятать пальцы в кулачки или за спину. А когда пришла пора, не позволяла себе носить ни колец, ни браслетов, чтобы не привлекать внимания к своим некрасивым рукам. Заодно и серег не носила, и ожерелий, потому что уши у Саши были чересчур велики, как и нос; подбородок большой и грубый, а шея толстова-

та. Так говорила мадемуазель Игнатьева, и Саша, разглядывая себя в зеркале, не находила причин ей не верить. Такого большого носа, как у Саши, не было ни у одной ее подруги... Зачем, спрашивается, пытаться украсить столь отталкивающее лицо серьгами? Смешно и глупо. Лучше просто не привлекать внимание.

Мадемуазель же Игнатьева, убедившись, что на фортепиано маленькая Саша сможет сыграть разве что «Собачий вальс», да и то спотыкаясь и путаясь в нотах, сочла ее необучаемой, рассеянной, неспособной запомнить элементарных понятий. В остальных науках гувернантка уже не усердствовала с нею вовсе.

Это потом, став куда старше, Саша начала догадываться, что гувернантка ее сама мало преуспела в чем-либо, кроме игры на фортепиано: об арифметике имела понятия крайне слабые, по-русски писала с позорными ошибками, а обучение французскому сводилось к тому, что Сашу заставляли зазубривать наизусть страницы текста.

Но и это практически не пошатнуло веру Саши в то, что мадемуазель была мудрой женщиной, которую она, Саша, просто бесконечно утомила своей врожденной глупостью.

– Умом ты пошла в матушку, Саша, – говорил батюшка в редкие минуты отцовской нежности.

Говорил, вздыхал, быть может, ласково гладил ее по курчавым волосам, а потом возвращался к своим делам и забывал про Сашу напрочь.

Что до матушки... она всегда была не от мира сего. Так говорил батюшка, это видела и сама Саша, и все вокруг. Матушка, впрочем, соглашалась. Вся она была в мечтах, в бессвязных мыслях, в своих тетрадках с акварельными обложками. Саша только теперь, после ее смерти, узнала, что это были дневники, а прежде она не могла взять в толк, что она пишет. Письма? Стихи? Заглядывать в тетрадки мама никому не позволяла.

Домашние дела ее не интересовали. Визитов она чуралась. Детей с легким сердцем поручила гувернанткам и спрашивала об их успехах даже реже, чем батюшка. На детские жалобы Саши из-за большого носа и коротких пальцев рассеянно отвечала, что, пожалуй, да, так и есть. Соглашалась, что если умом Саша пошла в маму, то внешностью – в отца. Жаль, что не в нее.

И тут же матушка отворачивалась к окну и пускалась в туманные объяснения, что нос и пальцы ровным счетом ничего не значат в судьбе. Мол, вот она всегда была недурна собой: мелкие черты лица, тонкая талия, аккуратный носик, изящные белые руки. И что – разве принесло ей это счастье?

Но Саша не понимала, о чем говорит матушка. На что ей жаловаться?

Не до конца понимала и сейчас, прочтя дневники от корки до корки.

* * *

Сентябрь в этом году был мягким и неторопливым. Жел-

теющие листья падали в ярко-зеленую до сих пор траву, и в классной даже не закрывали еще форточек, позволив свежему, с примесью невской сырости, ветерку гулять по комнате да ворошить тетрадки Сашиных племянников. Те занимались с гувернанткой, а их тетушка, устроившись в давно облюбованном ею уголке подле окна, любовалась осенью. Вполуха слушала урок и держала на коленях ворох шелка – подол Люсиного платья, к которому Саша надставляла кружева. Племянница росла не по дням, а по часам: любимое ее платье стало коротко, и Саша решила порадовать девочку, подправив наряд. А впрочем, сегодня было не до шитья – все валилось из рук.

Когда Елена – Елена Андреевна Мишина, гувернантка детей – закончила урок, Саша и сама живо подскочила с места, надеясь, что подруга заметит беспокойное ее состояние и перекинется с нею хотя бы парой слов. Елена обладала удивительной способностью вносить ясность в сумбур Сашиных мыслей.

Правда, была занята каждую минуту: к обязанностям своим Елена относилась очень серьезно. И все-таки нашла для нее время, отправив детей мыть руки перед обедом.

– Ну так что, Саша, ты ездила?.. – последнюю фразу Елена не озвучила вслух, хоть в классной и не было сейчас посторонних.

Саша торопливо кивнула.

О том, что с утра она намеревалась поехать на Фонтанку, в

полицию, к знакомому Лидии Гавриловны, Елена прекрасно знала. По правде сказать, она и склонила к тому Сашу, долго сомневавшуюся в столь решительных действиях.

– Знаешь, Елена, этот человек, господин Кошкин, показался мне вполне порядочным. Думаю, такой как он не станет сплетничать о том, что прочтет в маминых дневниках.

– Так ты отдала ему дневники? Все?

Об этом девушки говорили накануне, и все-таки Елена, кажется, не верила до конца, что Саша пойдет на это.

– Лишь те, что успела перевести. Около половины.

Саша поймала на своем лице недоверчивый взгляд подружки. В нем даже была доля опаски: Саша и сама считала все ею сделанное большой авантюрой. Но если Саше действительно было чем рисковать – честным именем семьи и доверием братьев – то Елена из одного только участия болела за нее всем сердцем.

Но страхов подруга высказывать не стала. Сдержанно кивнула и поторопилась к детям:

– Все к лучшему, Сашенька, ты правильно поступила! – подбодрила Елена напоследок.

Мнением ее Саша дорожила. Елену даже Денис слушал с уважением, доверял гувернантке своих детей всецело! А вот саму Сашу к их образованию и близко не допускал. Боялся, видно, что привьет она им что-то, чему научила ее баббе-Бейла. Напрасно совершенно. Никаких особенных тайн бабушка-иудейка Саше не поведала, разве что баловала да

любила ее беззаветно, как никто после бабушкиной смерти Сашу не любил. Племянники пока малы – Пете двенадцать, а Люсе десять – и пока что обожают тетюшку, как умеют обождать только малые дети. Однако Саша знала, что скоро те подрастут, и обожания того она лишится. А потому ценила каждый миг, проведенный с малышами. Водила на прогулки, читала книжки и укладывала спать. Присутствовала в классной и помогала Елене да нянюшкам всегда, чем могла. Помогла бы больше, да запрещал брат Денис. Ну хоть платье Люсе выправила – и то хорошо.

С тоской глядя, как Люся с Петей подрастают, Саша отчетливо понимала, что никаких других детей она воспитать не сможет. Свои собственные у нее едва ли когда-то будут... Уж если Сашу не взяли замуж в восемнадцать, то сейчас, когда ей идет двадцать седьмой год, не возьмут тем более. Двадцать семь – это же практически тридцать. Даже самую хорошенькую девушку не возьмут замуж в тридцать лет. Что уж говорить про Сашу с ее ужасным носом?

Была некоторая надежда, что второй брат, Николаша, когда-нибудь женится, и у него появятся дети, которых Саша сможет воспитывать – но надежду эту безжалостно убивала Елена насмешливыми своими суждениями:

– Николай Васильевич – женится? Не смейся меня. Твой брат мот и повеса, Саша, он умудрился подчистую прокутить свою часть наследства, хотя со смерти вашего батюшки еще и пяти лет не прошло! Верно, так и будет до старости сидеть

на шее брата. Такие не женятся. А вот дети... не удивлюсь, если они у него уже есть!

Саша в ответ на такие смелые речи немедленно краснела:

– Право, что ты говоришь такое, Леночка... Николаша бы никогда!..

Елена качала головой:

– Ах, да ты сама еще дитя, Саша!

Елена нередко позволяла себе насмешливый тон – но всегда лишь наедине с подругой. Местом своим она дорожила, и при Денисе Васильевиче, ничего подобного никогда бы не произнесла. Саше же она доверяла, и в выражении чувств была искренна, что Саше даже немного льстило.

* * *

Уже вечером, уложив детей, Елена заглянула в комнаты Саши, как делала часто – пошептаться о женском. Тогда-то Саша рассказала обо всем, что на сердце – и о следователе Кошкине, и сомнениях своих, и, конечно, о Гансе. Тема Ганса поднималась меж ними уж сотню раз, и всегда Елена заканчивала ее неизменным упреком:

– Твое увлечение Гансом до добра не доведет. В любом случае, виновен он или нет – он тебе не пара!

– Право, что ты говоришь, Леночка, я ни о чем таком совершенно не думала... я лишь не могу допустить, чтобы пострадал невинный. А Ганс именно что невиновен! Господин, Кошкин, я уверена, во всем разберется.

После Саша тайком оглянулась на дверь – не приоткрыта

ли – и, понизив голос, произнесла совершенно невозможную вещь. Произнесла, отчаянно краснея и не посмев даже понять от пола глаз:

– И даже если бы с моей стороны и были какие-то... чувства, то, конечно, я понимаю, Леночка, что мы не пара. Ганс... он очень хорош собой – а я... Словом, он никогда не обратит внимания на такую, как я. Он ласков ко мне лишь из вежливости – не думай, пожалуйста, что я этого не понимаю.

Саша все-таки подняла глаза, и увидела, как Елена устало качает головой.

– Ты совершенно себя не ценишь, Саша, – вздохнула она. – Он садовник, которого приняли на работу из милости, а ты единственная дочь купца Соболева. Поэтому вы не пара, а не потому, что ты выдумала!

Формально она была права, но... Саша понизила голос до шепота и выдавила последний и неопровержимый аргумент:

– Да мне ведь почти тридцать! Какие чувства могут быть в этом возрасте!

А Елена рассмеялась – негромко, но искренне:

– Здесь ты права, Сашенька. Мне тридцать один, и я со всей ответственностью заявляю, что в этом возрасте чувств быть не может. Лично я каждый день только и думаю о том, как буду доживать оставшиеся свои недолгие годы. Скопить бы на комнатуху – а лучше на две, чтоб одну сдавать постояльцам. Я бы тогда подобрала на помойке кота да и жила бы спокойно в свое удовольствие, ей-богу!

– Ты ведь шутишь? – с сомнением спросила Саша. – Ты такая хорошенькая, Елена, ты непременно выйдешь замуж. Не обижайся, что я упомянула возраст – я совсем не то хотела сказать...

Обиделась Елена или нет, Саша так и не поняла. Но подруга подмигнула ей и скользнула к двери:

– Посмотрю, спят ли дети, а после вернусь и причешу тебя, как в том модном журнале. Сейчас кудри, как у тебя, безумно популярны: девицы такие с утра до ночи накручивают – а у тебя от природы!

После ее ухода Саша целых три минуты рассматривала свое отражение в маленьком настольном зеркале почти без досады. Кудри ее и правда были хороши. Кудри достались от мамы.

Вернулась Елена и правда быстро.

– Спят, как ангелы, – улыбнулась она, парой быстрых движений выдергивая шпильки из Сашиных волос.

Управлялась с расческой и щипцами она удивительно ловко, и Саша, ловя в зеркальном отражении ее серьезный сосредоточенный взгляд, размышляла, о чем же та думает. Правду ли сказала, что у Саши хорошие волосы, или из желания ею порадовать? И вздохнула, поняв, что Леночке просто стало ее жаль.

Как так вышло, что сама Елена в свои тридцать один не замужем, Саша решительно не понимала. Елена и впрямь была очень хорошенькой, со внимательным взглядом карих глаз и

воздушной прической из русских волос, которые она как раз подвигала с большой тщательностью. Одевалась Елена вроде бы и просто, едва ли не в то же самое, во что и Саша (вульгарности у гувернантки Денис бы просто не стерпел), одна всегда ее наряд выглядел удивительно живым. То брошку приколет у ворота, то добавит яркую ленту на шляпку, то игристые бантики пришьет к совершенно обыкновенным недорогим перчаткам.

В результате всегда, когда ни шла бы Елена по улице, мужчины оборачивались ей вслед, а иные незнакомцы приподнимали шляпы. Вечно строгий брат Денис был с Еленой мягок, почтителен и улыбчив. И даже Юлия, его жена, всегда придиричивая к внешнему виду прислуги, не находила к чему бы придраться в облике гувернантки.

Как это у Елены выходило?

Саше не овладеть той наукой никогда. Она уже и не пыталась.

– Если ты хочешь завести кота, Леночка, то можешь держать его и здесь, в этом доме, – вдруг предложила Саша, снова поймав строгие глаза подруги в зеркале. – Денис Васильевич наверняка не будет против.

– А если выяснится, что Денис Васильевич все-таки против, то я лишусь места и окажусь на помойке сама. Тебе будет очень неловко, Сашенька, когда ты застанешь меня там, просящей милостыню.

– Ох, Елена, что ты говоришь?!

Та шутила как всегда (или же говорила серьезно), а Саша в самом деле перепугалась. Она не понимала, как можно иронизировать над такими вещами?

– Я лишь говорю, что мне, в отличие от тебя, дорогая, нельзя допускать ошибок и полагаться на «авось». А впрочем, не будем об этом. Расскажи лучше про того следователя с Фонтанки. Что он думает? Он попытается выяснить, что на самом деле произошло на даче?

Саша вздохнула, почти что всхлипнула.

– Думаю, что да. Я была убедительна и напориста, как ты советовала. Он согласился хотя бы прочесть дневники, а ведь это уже много, правда? Если он в самом деле их прочтет, я уверена, он поймет, что Ганс невиновен.

Елена промолчала, сосредоточенно подкалывая непокорную прядь шпилькой. Или она хмурилась потому что не была уверена в Кошкине? Или в Гансе? Саша не знала...

Лишь спустя полминуты Елена снова заговорила, дав понять, что не прическа так ее беспокоит:

– Если господин Кошкин возьмется за твое дело, то он наверняка посетит этот дом. Обмолвится хотя бы парой слов с Денисом Васильевичем, и с Николаем. Наверняка ему придется рассказать, как к нему попали дневники. Ты это понимаешь?

Саша вздрогнула всем телом. Она понимала это – но предпочитала не думать пока что.

«Ты не торопись, Шунечка. У тебя свой путь, неторопли-

вый. Сперва за одно дело возьмишься да и закончи, потом за второе. А пока первое делаешь – не заглядывай, что дальше будет. Жизнь большая, а ты маленькая. Богу видней, как тобой распорядиться»

Так говорила когда-то баббе-Бейла, и Саша крепко эту науку усвоила. Не торопиться и не заглядывать далеко. Сперва отнести дневники в полицию – потому что не отнести было нельзя, а потом держать ответ перед братьями за непослушание. Еще вчера Саше казалось, что целая вечность пройдет, перед тем как Кошкин явится в их дом для беседы с братьями. А сегодня Елена указала ей на то, что это может произойти в любой момент...

– Нравится? – спросила Елена, наблюдая, как Саша долго и пристально рассматривает себя в зеркале.

– Очень!.. У тебя золотые руки, Леночка!

Та улыбнулась. Постояла позади Саши еще немного и вполне серьезно спросила:

– Помочь тебе расплести?

– Нет... позже... Еще немного так оставлю. Я сама расплету, как лягу. Спокойно ночи, Леночка.

– Спокойной ночи, – усмехнулась та. Прищурилась: – когда-нибудь я уговорю тебя причесать по-моему с утра, а не на полчаса перед сном!

Саша не стала спорить. Когда-нибудь – все возможно. Жизнь и правда большая.

Глава 5. Кошкин

Осень стояла сухая и теплая – всю неделю, что редкость для Санкт-Петербурга, можно сказать, аномалия. Но полицейский экипаж мчался по накатанной дороге скоро, не вязнув в грязи, да не продуваемый всеми ветрами. Все Кошкину благоволило, даже удивительно. И людей себе в помощь удалось сыскать сразу – толковых специалистов.

Кирилл Андреевич Воробьев был тридцати четырех лет, чуть моложе Кошкина; прекрасно обращался с фотографическим аппаратом, служил на Фонтанке уже третий год и учился когда-то в университете на физической кафедре. Его работу по трасологии, науке о следах, Кошкин прочел нынешним летом и еще тогда подумал, что неплохо было бы задействовать сего автора в чем-то посерьезней краж в продовольственных лавках. Был Воробьев высоким, худощавым, словно нарочно суженным да вытянутым, и носил очки. Настоящие, а не как Кошкин, для солидности.

Но просьбу Кошкина (вовсе не прямого своего руководителя) поехать в Новую деревню, что на Черной речке, касавшего старого и вроде бы раскрытого дела об убийстве вдовы Соболевой, Воробьев откликнулся без лишнего подхалимажного энтузиазма. Но откликнулся, задав ряд весьма уместных вопросов. Был деловит, собран и, пока тряслись в экипаже, в разговор вовсе не вступал – за что получил от

Кошкина дополнительный балл.

Возможно, Воробьев помалкивал оттого, что по Департаменту полиции о Кошкине ходила молва, как о человеке нелюдимом, странном и непонятном – после того, как ослушался самого Шувалова, угодил за то в ссылку, а после вернулся на прежнюю должность, как ни в чем не бывало. Должно быть, поэтому сближаться с Кошкиным никто не торопился.

Дача вдовы Аллы Соболевой стояла в самом начале главной улицы Новой деревни. Места эти были малообитаемые, давно заброшены – одно название, что новые. Кошкин знал, что пик популярности Новой деревни пришелся еще на пушкинские времена, когда знаменитый поэт проводил веселые вечера в компании друзей. В конце сороковых некто Излер, известный в прошлом делец, основал здесь заведение «Искусственных минеральных вод», прозванное в народе «Минерашками». Петербуржцы «Минерашки» полюбили, особенно полюбила определенная его прослойка, проводя здесь едва ли не каждый свой вечер и занимаясь на «Минерашках» чем угодно, только не поправкой собственного здоровья. Веселые вечера, музыка, фейерверки, рестораны, цыгане, акробаты, фокусники – все здесь было. Однако с конца шестидесятых «Минерашки» стали приходить в упадок, а после и вовсе погибли в огне пожара. Пришли в запустение и Новые деревни, потому как дачники, с открытием Финляндской железной дороги, облюбовали для себя новые места.

Но Алла Соболева, очевидно, за модой не гналась.

* * *

На месте, едва остановились, Кошкину навстречу подскочил паренек в полицейской летней форме, с потрепанной кобурой на поясе и, как положено, с шашкою на боку. Рукоять той шашки была начищена до зеркального блеска, и, по всему видно, являлась предметом гордости. Кобура же, скорее всего, болталась пустой: револьверами и городских стражников далеко не всех снабжали, а уж уездных тем более.

– Рядовой уездной полиции Антонов! – бодро, вытянувшись по струнке, отдавая честь, отрекомендовался тот. – К вашему услугам, Ваше благородие! Изволите сразу пройти в дом аль осмотритесь сперва?

– На первом осмотре места происшествия вы лично присутствовали, рядовой? – вместо ответа хмуро поинтересовался Кошкин.

– Совершенно верно, Ваше благородие! Станового пристава Кузьмина от и до сопровождал!

– И при допросах-задержаниях присутствовали?

– Не при всех, Ваше благородие... – чуть робея, доложил тот, – однако ж садовника-чухонца задерживал лично! За что имел честь получить благодарность от господина станового пристава!

Опустить руку от фуражки без разрешения он, разумеется, не посмел, даже скосить взгляд на новое начальство не посмел. Кошкин кивнул сам:

– Вольно, рядовой.

Следовало бы осмотреться в саду: по всему было ясно, что ударили в первый раз Аллу Соболеву именно снаружи, а не внутри. Быть может, здесь и улики какие-либо получилось бы сыскать... Однако, оглядевшись, увидев разбитые дорожки, поломанные кусты да ветки, Кошкин приуныл. Если и были здесь следы, то бравая команда господина станового пристава вытоптала все подчистую. Даст Бог, хоть в протоколах перед тем успели все описать.

А впрочем, папка с документами, описями, протоколами и фотокарточками была совсем тонкой. Кошкин уже успел ее изучить, и о розовом саде в нем упомянули буквально парой слов.

– Протокол осмотра становой пристав сам заполнял или вам поручил? – спросил Кошкин, покуда Антонов услужливо открывал перед ними с Воробьевым калитку.

Кошкин прошел, а Воробьев задержался, начав расчехлять свой фотографический аппарат да прилаживать к нему треногу – видимо, заметил что-то. Кошкин лишь порадовался той инициативе.

– Господин становой пристав своих секретарей привез – они заполняли, Ваше благородие. Я лишь сопровождал и рассказывал, что да как. Кухарку барыневу, вот, потом к нему привел для допросу.

– С Соболевой или родственниками ее приходилось прежде разговаривать? Бывали здесь?

– Нет, Ваше благородие. Тихая старушка была, ни звуку. И не жаловалась ни разу. Садок-то заметный у ней, издали видать – вся округа любовалась цветочками, да и я, кажись, пару раз мимо проезжал. А вовнутрь зайти вот только теперь довелось.

Сад и сейчас, что называется, сохранил следы было красоты, даже не смотря на сентябрь на календаре. Роз, о которых говорила Александра Соболева, разумеется, уже не было – лишь высохшие да почерневшие стебли с шипами торчали кое-где. Как-никак больше четырех месяцев прошло с тех пор, когда за кустами кто-то ухаживал. Но и их остатки, высаженные когда-то рядом, с большой аккуратностью, подсказывали, что сад был хорош.

От дороги сад отделяла высокая изгородь, тоже некогда регулярно подстригаемая, дальше сам сад, вдалеке хозяйственные постройки, деревянные и покосившиеся, а посреди небольшой каменный дом с облупившейся краской на стенах и выцветшей красной черепицей. Основательный и добротный когда-то в прошлом и оттого сохранившийся до сих пор – как и все здесь.

– Так кухарка Соболевых что же, была здесь, когда все произошло? – спросил Кошкин, размеренно шагая к дому и надеясь самому понять, где именно напали на хозяйку.

– Когда произошло – нет, Ваше благородие. Выходной у ней был, так говорит. А возвратилась когда, спустя два дня, тело-то и нашла. Вон там, в садовничкой.

Антонов указал на небольшую каменную пристройку к дому. Вход в нее был совсем низкий, и вниз же уводила лестница, вероятно, садовническая находилась в полуподвале.

– Так тело нашла кухарка?

– Она-она. Родная сестра садовника, Ваше благородие, вдова с девочкой восьми лет. А как нашла, первым делом послала посыльного к старшему сыну барыни Соболевой. Тот, как приехал да все увидел, сам уже и полицию позвал.

– Отчего же кухарка в полицию не обратилась, а к Соболеву? Что говорит?

– Испужалась, – пожал плечами рядовой Антонов. – Денис Васильевич, говорит, строгий, требовательный, велел, чуть что с матушкой приключится – сразу за ним посылать.

Дело, в общем-то, обычное: на памяти Кошкина весьма редко прислуга решалась сообщать о громких преступлениях в полицию, в обход хозяев.

Пока Антонов договаривал, Кошкин уже остановился на выложенной камнем дорожке: на небольшом ее клочке отчетливо виднелись бурые пятна. И кусты подле были поломаны сильнее прочих. Видел ли этот след становой пристав Кузьмин или нет, но Кошкин жестом подозвал Воробьева и попросил сделать несколько кадров. До лестницы в садовническую отсюда было с десятков шагов и никаких прочих дверей или укрытий рядом не располагалось. Похоже, что бежать Алле Соболевой и правда больше было некуда.

Ну а после, решив, что едва ли найдется здесь что-то еще,

велел показать Антонову, где нашли хозяйку дома.

* * *

Садовническая и впрямь находилась в полуподвале. Тяжелая дубовая дверь отворилась с протяжным скрипом, выпустив наружу ароматы сырости и отголоски печально-знакомых Кошкину запахов разложения. Прошло четыре месяца, но такие запахи выветриваются крайне неохотно.

Электрического света внутри ожидаемо не было – слишком старый дом для городских новшеств. Однако под потолком имелось несколько узких зарешеченных окошек, через которые проникал свет, и в садовнической вовсе не было так уж темно. К тому же имелся запас свечей и масляных светильников, которые Антонов сноровисто стал поджигать – видимо, не в первый раз.

Всполохи света тотчас показали, что стены в помещении светлые и каменные, очень неровные; потолки низкие, а мебели совсем немного. Только ящики с землей и рассадой, емкости с водой и садовые принадлежности – лопаты, грабли, ножницы. Какие развешаны на стенах, какие просто свалены на пол.

Сам же пол представлял собою зрелище страшное... бурые потеки, отпечатки подошв, рук, мазки, целые лужи, высохшие теперь уж, но не оставляющие сомнений, чем они являются. Кровь. Очень много крови.

Пол в подвале тоже был каменным и, конечно, после случившегося его никто не думал отмывать.

– Вот, Ваше благородие... здесь все и произошло...

Рядовой Антонов осторожно переступал с одного чистого участка на другой, дабы на попасть сапогом в пятна засохшей крови. Последовал его примеру и Кошкин, хоть было это непросто.

– Заперлась здесь хозяйка на ключ и забаррикадировалась, чтобы, значит, убийца следом не вошел.

– Так она сумела придвинуть что-то к двери? – удивился Кошкин. Невероятным казалось, что при такой кровопотере женщина еще что-то двигала.

– Да, Ваше благородие, вот эту самую кадку, а еще скамейку. Кухарка говорит, насилу дверь отворила, когда явилась.

– Но все-таки отворила... – хмыкнул Кошкин. – А почему убийца того же не сделал?

– Не могу знать, Ваше благородие... – растерялся стражник, – должно быть, ключа не было.

– У садовника не было ключа от садовничкой?

Обстоятельства дела становились все любопытней. Рядовой Антонов же только развел руками.

Кошкин, меж тем, осматривался. Помещение было небольшим, шагов шесть в длину и в ширину столько же. Среди сваленных на полу садовых принадлежностей некоторые были перепачканы в крови: должно быть, хозяйка схватила их, думая защититься, потом бросила. Она явно была активна и, пожалуй, действительно смогла бы защититься в первые часы после удара. Но ушиби головы коварны.

Часто даже малозначительные, на первый взгляд, имеют печальные, а то и летальные последствия. Алла же Соболева, оставшись с серьезной травмой, без докторской помощи, совершенно одна в этом подвале – была обречена.

– Там что? – хмуро кивнул Кошкин на темный проход в стене.

– Выход, Ваше благородие – прямо в дом, под лестницу. Однако ж заперт, увы. Видать, сама хозяйка и закрыла, да позабыла о том. Так и осталась в погребке, бедолага.

Но с осмотром коридора и «выхода» Кошкин решил повременить, ибо стена сразу напротив двери уже завладела его вниманием целиком и полностью, едва на нее упали лучи от лампы. В ее свете сразу бросались в глаза неровные прерывистые мазки, бурые, вьевшиеся в светлый камень. Мазки сами собою складывались в буквы, а буквы в целую фразу, растянувшиеся в строку. Бодро начавшаяся в середине стены, строка имела заметный крен вниз, а последние ее буквы и вовсе были чуть выше пола, заканчиваясь крайне неразборчиво.

– Здесь ее нашли, возле стены, – шмыгнул носом Антонов. – Пальцы в крови перемазаны, голова к стене повернула. Ну да в протоколах все есть, там и фотокарточки приложены.

Фотокарточки Кошкин уже рассматривал, но не поленился и сейчас раскрыть папку и, подсветив лампой, свериться с ними.

Алла Соболева и впрямь лежала прямо под надписью, а правая рука ее была запечатлена приваленной к стене – ровно в том месте, где кончались неразборчивые буквы.

– Проводили почерковедческую экспертизу? – спросил Кошкин.

– Нет... – растерялся Антонов. – Какая уж тут экспертиза, Ваше благородие, ясно ж все, как божий день!

– Господин Воробьев, – вместо ответа обратился Кошкин ко второму сыщику, – поручаю вам запечатлеть надпись на стене целиком и каждый фрагмент по отдельности. С разных ракурсов, в отличном освещении. Стражник Антонов вам поможет со светильниками. А после... словом, нужно добыть образцы почерка вдовы Соболевой и убедиться, что надпись сделана ею.

– Хорошо, Степан Егорович, – ровно ответил Воробьев, тоже поднимая лампу повыше и с прищуром вглядываясь в надпись. – Думаю, это можно устроить: некоторые буквы, особенно вначале надписи, имеют несколько м-м-м... особенностей.

Приглядевшись, Кошкин и сам в этом убедился. Буквы в первых двух словах были ровными, округлыми, размашистыми, а, например, «н» и «я» даже имели игривые волнообразные перемиčky, какие часто используют женщины. Поручая провести экспертизу Кошкин поначалу мало надеялся на успех – однако Воробьев сумел воодушевить, что из этого и правда что-то выйдет.

Что касается общего смысла фразы, то она хоть и была построена кривовато, смысл имела вполне определенный.

«Меня убиват Г»

Именно «убиват» – не «убил», как сказала Кошкину дочь Соболевой при их встрече. И, хотя Александра Васильевна настаивала, будто после «г» идет гласная «у» – Кошкин этого совершенно не увидел. Буква была смазана. Удлиненную петлю внизу можно было принять за часть буквы «у», но ровно с тем же успехом это мог быть след от произвольного движения руки. Дописывала эту букву Алла Соболева явно в последние мгновения жизни...

Однако с большой вероятностью можно было сказать, что буква «г» была заглавной, как первая буква имени. Ибо ее верхушка явно возвышалась над другими. Она была написано просто, без излишеств, как буквы в первых словах: из двух четких линий, составленных под прямым углом – однако так, что совсем не походила на «т», например.

Глядя на эту надпись, снова сверившись с фотокарточками, сделанными станковым приставом, Кошкин едва заметно покачал головой. Похоже, что вдова Соболева все же пыталась написать имя «Ганс». Все на это указывало. Ну а то, что у садовника не оказалось под рукой ключа от его собственной садовничьей, можно было объяснить тысячей причин. Самая вероятная из которых – раз ударив хозяйку, он вовсе не собирался ее добивать. Быть может, что и ударил-то случайно. В этом случае, если Александре Васильевне так уж

жаль этого садовника, адвокаты могут добиться для него казни или тюремного заключения – вместо виселицы.

– Орудие убийства нашли? – спохватился Кошкин о главном. Даже пролистнул страницы дела, думая, что просмотрел не все.

– Нет, Ваше благородие, – опять робея, доложил Антонов. – Молотком, видать, ударил, злодей: рана ого-го была! Прямо на темечке. А молоток, может, в реку сбросил. Ни в доме, ни в саду так и не нашли.

Кошкин хмыкнул и тут же одернул себя. Если садовник Ганс не поленился избавиться от орудия, коим ранил хозяйку, так значит знал, что убил. Или что она умрет в самом ближайшем будущем.

– Кирилл Андреевич, – обратился он к Воробьеву, занятому расстановкой света. – Будьте так добры, как закончите с фотосъемкой, возьмите образцы со стены и убедитесь, что это кровь. Сумеете?

Отозвался тот не сразу. В знакомой уже вдумчивой манере изучил сиену с прищуром, едва не носом елозя по светлomu камню – но заключил бодро:

– Вполне. Не на месте, конечно: придется соскобы со стены взять и отвезти в лабораторию. Но доказать, кровь ли это, можно.

Кошкин кивнул. Воробьев ему нравился все больше.

Вопрос был не праздный, потому как, в теории, надпись мог сделать кто-то уже после смерти Аллы Соболевой – что-

бы оговорить садовника. Ее собственная кровь к тому моменту, скорее всего, уже засохла бы или стала вязкой. И кому-то могла прийти в голову идея сделать надпись чем-то другим, весьма на кровь похожим. Жаль, не выйдет узнать, кровь ли это животного или человека, но, по крайней мере, любой другой краситель получится исключить.

– Это что же – во всем подвале не нашлось ни карандаша, ни клочка бумаги? Что за необходимость такая – кровью не стене писать? – спросил Кошкин, вновь пролистывая материалы дела.

Прочтя некоторые из дневниковых записей вдовы Соболевой он уже знал, что она склонна к драме, но чтоб настолько...

– Не нашлось, Ваше благородие! – заверил Антонов. – Ни клочка, ни карандаша. Дамы, бывает, того, на поясе писчие принадлежности носят, но старушка не такая была. При ней только часики нашли и сережки.

Кошкин не стал придираться – хоть и казалось это ему странным. Решил, что чуть позже сам осмотрит с лампой каждый уголок. Вдруг еще что найдется? Но пока что решил-ся осмотреть коридор, что вел, по словам Антонова, прямо-ком в дом.

– Зачем понадобилось соединять садовническую с жилой частью? Расспросили хозяев? – поинтересовался он, протискиваясь в довольно узкий проход.

Стены здесь тоже были каменными и белыми. И тоже то

там, то тут имелись бурые отпечатки, подсказывающие, что Алла Соболева по коридору прошла, наверное, не единожды.

– Так проход не с садовничкой соединяет, а с винным погребком, – хмыкнул Антонов.

В коридоре и правда имелось ответвление: узкий проход безо всяких дверей, который расширялся в прямоугольную нишу. Подняв лампу над головой, Кошкин оглядел совершенно темное, заброшенной помещению с парой бочек вдоль стены и внушительным количеством рядов стеллажей, сплошь уставленными пыльными бутылками.

Немало бутылей, а впрочем, отсутствовало – даже на беглый взгляд – о чем красноречиво говорила пыль на стеллажах, аккуратно очерчивающая донца несуществующих бутылей.

– Ваша работа? – мрачно поинтересовался Кошкин.

– Господь упаси, Ваше благородие! Да мы бы ни за что... – Рядовой густо покраснелся вопреки словам. – Кухарка говорит, барыня не охотница была до спиртного, но вот сыновья ее, особенно младший, наведывались часто именно за винцом. Соболевы-то прежде виноторговцами были, виноградники имели на югах – с той поры и запасы.

– Узнаю, что мародерствовали – под суд пойдешь, – заявил Кошкин резко.

А впрочем, он не сомневался, что некое количество бутылей с вином точно ушло, и наверняка не без молчаливого разрешения самого станowego пристава. Бутылок здесь де-

сятки – кто их считать будет?

Но больше Кошкина интересовали не бутылки, а стены в нише. Из того же светлого грубого камня, которые, если задеть перепачканной в крови рукою, не отмыть никогда. Но крови как раз не было, сколько Кошкин не высматривал – ни на стенах, ни на полу. Едва ли Алла Соболева сюда заглядывала.

Взмахнув лампой в последний раз, он вернулся в коридор и теперь уж дошел до его конца – упершись, к своей неожиданности, в литую чугунную решетку, вместо двери. Запертую, конечно.

– Ее что же так и не отпирали? – спросил он Антонова.

– Нет, Ваше благородие. Надобности не было... да и ключи кухарка сыскать не смогла. Но, ежели хотите, сломать замок можно – господин Соболев согласие дал.

– Не надо покамест...

Там, за решеткой, как и обещал Антонов, была уже хозяйская часть дома – передняя, кажется. Из окон лился дневной свет, отсюда вела лестница на второй этаж, красовался низкий столик на резных ножках и большое напольное зеркало. А чуть дальше высокий шкаф, должно быть, для верхней одежды.

Выходит, Алла Соболева, подперев дверь в садовничкой, бросилась бежать сюда – надеялась попасть в дом. Была так близка к спасению, но спасения не получила. Решетка, была тяжелой, ее и мужчине едва ли получится сломать, а уж

женщине... Но Соболева пыталась: прутья решетки в некоторых местах были сильно перепачканы кровью. Вдова трясла их руками и, быть может, пыталась разжать. Капли засохшей крови были и на полу, под самой решеткой. Вероятно, Соболева и на помощь звала – но не дозволась.

– Так что же, кухарка уехала на два дня, а брат ее – этот Ганс? Был он в доме или нет? Сам что говорит?

– Ну так... – замялся рядовой, – работать-то должен был – в саду возиться, но говорит, что не было его здесь ни разу за все два дня. Запил, мол. Брешет, ясно ж, как Божий день.

– Запил... – хмыкнул Кошкин больше про себя. – А дочка вдовы говорит, что садовник положительный со всех сторон. Да и стала б вдова пьющего держать?

– Брешет-брешет, Ваше благородие! – поддержал Антонов, – даже сестра евойная обмолвилась, что братец только по большим праздникам за воротник закладывает. А чтоб два дня на работе не появляться – не было такого ни разу!

Отвечать Кошкин не стал, все больше убеждаясь, что и с самим садовником Гансом ему придется побеседовать. А после, опять подняв лампу над головой, принялся внимательно осматривать стену возле решетки. Бурых мазков, капель, потеков здесь было много, и Кошкин справедливо надеялся, что Алла догадалась оставить какие-то подсказки именно на этой стене.

Но ничего похожего на подсказку не было.

Что странно. Здесь больше света, здесь теплее и не так

пахнет подвальной сыростью. А еще больше вероятности, что кто-то из родственников или прислуги, вернувшись, сразу увидят ее. По-хорошему, Соболевой следовало бы оставаться здесь до конца и ждать. Зачем она вернулась в садовницкую? Сделать надпись на стене она могла здесь с тем же успехом...

А потом Кошкин прищурился. Даже присел на корточки, чтобы лучше увидеть – подсветил себе лампой. Но отсюда было не разглядеть: заинтересовавший Кошкина предмет был там, за решеткой. И Кошкин, тотчас сорвавшись с места, бросился назад по коридору.

– Кирилл Андреевич, – не слишком почтительно, на бегу и не оборачиваясь, позвал Кошкин, – будьте добры, отложите ваше занятие. Мне нужны вы и ваш фотографический аппарат. Сейчас!

Что по этому поводу думал Воробьев, который только-только установил треног в нужном положении, Кошкина, по правде сказать, не интересовало. Он торопился в дом, боялся, что ему померещилось. Вырвался из сырого помещения садовницкой на свежий воздух, следом за Антоновым по узкой тропинке обогнул дом и вышел к фасаду. Вбежал в переднюю и, сходу упав на колени, заглянув под плательный шкаф, все же увидел среди плотных хлопьев пыли то самое. Тонкий искусно выполненный женский перстень с небольшим ярко поблескивающим алмазом в середине.

– Рядовой, какие, говорите, сережки у вдовы были, когда

ее нашли?

— Да вот такие же, с белым камушком... — растерянно произнес тот, щурясь на перстень.

Следящие за модой дамы, даже и преклонного возраста, обычно очень трепетно относились к тому, чтобы сережки, заколки, браслеты и кольца подходили друг к дружке. Кошкин на червонец готов был спорить, что этот перстень не просто был обронен когда-то по случайности, а снят с пальца и брошен сюда через решетку самой Аллой Соболевой, запертой в каменной ловушке. Оставалось только выяснить, зачем.

Глава 6. Роза

июль 1866

Странно, но Роза совсем не страшилась ни побега своего, ни венчания, состоявшегося поздним вечером, почти украдкою, в маленькой лютеранской церкви на Васильевском острове. Вместо матушкиных объятий и наставлений ее сопровождали просьбы молодого мужа быть осторожной и потопрапливаться; вместо дорогих сердцу гостей – незнакомые лица приятелей Шмуэля с университетских курсов. Роза тогда даже имен их не знала. Вместо обручальных колец – пылкие, горячие поцелуи Шмуэлем кончиков ее пальцев. А еще его признания, будоражащие душу и воображение:

– Я люблю вас, Роза. Люблю безумно и страстно. Клянусь, вы не пожалеете, что сделали свой выбор!

А впрочем, те поцелуи и признания куда важнее колец: Роза отвечала молодому мужу влюбленным взглядом, верила ему и была счастлива в той церкви, бесконечно счастлива!

По крайней мере, подвенечное платье она за собой оставила. Шмуэль умолял надеться во что-то удобное и практичное, но Роза была непреклонна. Расшитое бусинами платье цвета слоновой кости и белая вуаль, которую она сама наспех прикалывала к волосам шпильками уже в экипаже.

В том же экипаже, после скоротечного венчания, состоялся еще более скоротечный «банкет». Приятель Шмуэля,

Сергей Андреевич, просивший называть его по фамилии – Глебов, вынул из-под полы плаща бутылку шампанского и под всеобщий смех и одобрительные возгласы, лихо вскрыл ее, ударом палаша по горлышку. Осколки стекла, брызги, белая пена фонтаном разлетелись во все стороны, перепачкав и нарядное платье Розы, и ее белоснежную вуаль. Но мужчинам, конечно, не было до этого дела, да и сама Роза, поддавшись необъяснимому веселью, только смеялась – громко, бесстыдно, запрокинув голову и за шею обнимая своего молодого мужа.

– Пожалуйте, Роза Яковлевна, специально для вас припас! – Глебов добыл откуда-то еще и бокал, а наполнив его до краев, подал новобрачной.

Роза замешкалась, но совсем ненадолго. Спиртного она до этого не пила, даже не видела столь близко наполненных рюмок. Однако побег из дому и так уже перевернул ее жизнь с ног на голову. Она теперь взрослая! Она жена. Она сама себе хозяйка и не обязана соответствовать матушкиным представлениям о благочестии! Махнув на все рукой, Роза чуть пригубила вино – и ей сделалось еще веселее, и в голове зашумело от радости и предчувствия новой прекрасной жизни.

Это был превосходный вечер. Безумный, сумасшедший, дьявольский и бесстыдный – но самый лучший из всех вечеров, пережитых Розой. А после, разумеется, ночь с любимым, пылкая и страстная. Оказалось, то, что происходит в

спальне между влюбленными, вовсе не так страшно, как, основываясь на слухах и обрывках разговоров взрослых, думала Роза прежде. И что без обязательных в таких случаях советов матушки Роза вполне способна догадаться, что делать. Это только усилило ее уверенность, что все у них со Шмуэлем будет прекрасно – куда лучше, чем до сих пор.

И пробуждение ее было прекрасным. Июльское утро, солнечное и светлое. Пока жила в родительском доме, Роза не имела горничной – а тут причесывать и одевать ее явилась миленькая румяная крестьянка Нюрочка. Она-то и подсказала, что господа уже позавтракали и ушли на прогулку, а в доме осталась только Валентина Михайловна, которая завтракает нынче в саду. Роза тогда несказанно обрадовалась. Ведь, значит, у нее появится подруга! И скорее помчалась в сад.

И Валентина тоже как будто была ей рада. Так казалось поначалу. Угощала пирожными с лимонным кремом и рекомендовала пить на завтрак кофе, а не чай. Но Розу расстроило уже то, что Валентина Михайловна оказалась несколько старше, чтобы стать ей подругой. Даме было уже за двадцать, а то и все двадцать пять. Еще Розе не понравилось, что дама была очень уж красива. Слишком, с перебором. Нет, Роза не завидовала, ничуть! Себя она считала девушкой очень хорошенькой, и имела тому немало подтверждений. Роза имела выразительные темные глаза, пухлые губки, изящные черты лица и тонкую талию. Это ли не повод считаться хорошень-

кой? Но красота Валентины была другой. Таких, как она не называли симпатичными или хорошенькими – нет. Ради таких убивали на дуэлях и стрелялись сами. Посвящали таким тома стихотворений и не забывали всю жизнь, поговорив один вечер. Ради таких начинали войны и бросали к их ногам целые царства.

Вряд ли Роза поняла всю суть Валентины Журавлевой, едва ее увидела, но, без сомнений, почувствовала очень хорошо. И тотчас невзлюбила.

А после Роза заметила, что и радушие Валентины напускное, неискреннее. И первый болезненный укол Роза получила, когда новая знакомица спросила прямо и без тени смущения:

– Долго ли вы намереваетесь гостить у Сергея Андреевича, милочка?

И от обращения этого, и от тона, обманчиво-дружелюбного, Роза признаться, растерялась. Уже чувствовала, что не следует быть с этой дамой откровенной, но зачем-то стала отвечать искренне, как думала.

– Прово... я не говорила еще Шмуэлю, но я намереваюсь написать матушке и батюшке и чистосердечно во всем признаться. Надеюсь – да нет же – я уверена, они простят нас и помогут Шмуэлю встать на ноги.

– Кто ваш отец?

– Батюшка занимается банковским делом, а братья работают с ним.

– О... – вскинула брови Валентина. Ее красивые губы изогнулись в неискренней улыбке: – так Шмуэль весьма выгодно женился?

Розу бросило в жар. Она буквально почувствовала, как пылают ее щеки. И с той поры уж окончательно стало ясно, что дружбы не сложится. Роза изо всех сил пыталась держать себя в руках, быть холодной и высокомерной, как эта дама. Но получалось плохо.

– Что вы! Банк батюшки совсем невелик... мы не богаты... У нас всего пять комнат и одна служанка... А матушка сама готовит обед!

– Право слово, охотно верю вам, дитя! – рассмеялась Валентина и, слава богу, прекратила поток излияний Розы – не то бы она еще много рассказала, чего не следует. – Шмуэль любит вас, это очевидно. Видели бы вы, как теплеет его взгляд всякий раз, как он о вас рассказывает. Я всего лишь хотела сказать, милочка, что было бы хорошо, если б ваш батюшка и правда вас простил. Любовь любовью, но нищета убивает все чувства.

– Но Шмуэль не нищий! Он учится на доктора и дает частные уроки. Мы не пропадем!

– Шмуэля исключили еще весной, – холодно пресекла ее Валентина. – Разве он вам не сказал? Впрочем, уже вижу, что не сказал. Досадно. Не выдавайте, что это я вам все разболтала, милочка. Не желаете прогуляться со мной по саду? Здесь прекрасные виды.

– Нет! – резче, чем следовало, огрызнулась Роза.

Валентина поняла ее правильно, хмыкнула напоследок, и с той поры они беседовали крайне мало. Неизвестно, что Валентина, а Роза нарочно старалась избежать встречи с этой высокомерной и злой дамой. Зато некоторое подобие дружбы сложилось у нее с горничной Нюрой, бывшей крепостной, ее ровесницей.

Виды в усадьбе Глебовых, точнее на даче – как называли ее все здесь – были и правда чудесные. Небольшой, но уютный каменный дом, огромный сад, выходящий к Черной речке, пригорок с беседкой, откуда по вечерам можно слушать музыку и любоваться фейерверками, что запускают в саду господина Излера. Розу все здесь приводило в восторг!

Но более прочего ей понравился закуток сада с оранжереей, где садовники выращивали самые настоящие розы. Девушка прежде и подумать не могла, что эти цветы – ее любимые цветы – можно вывести здесь, в Санкт-Петербурге, с его переменчивой погодой, вечными дождями и почти полным отсутствием солнца. Но оказалось, что можно. Батюшка Нюры был одним из садовников, и молоденькая горничная немало знала об уходе за цветами – чем охотно делилась с любопытной Розой. В награду же та читала служанке вслух свои любимые романы, пока та была занята шитьем да уборкой. Библиотека на даче Глебова была превосходной, и скучать Розе не приходилось.

Тем более что, хоть и не сложилось с подругой, Роза была

уверена, что друзья Шмуэля станут прекрасными друзьями и ей. Так она думала поначалу и, в отличие от знакомства с Валентиной, предпосылки к тому были отличные.

Взять хотя бы то, что мужчины в этом доме преспокойно вели разговоры о делах хоть в столовой за обедом, хоть в гостиной за чаем. Хоть на прогулке, хоть за вечерним любованием фейерверками. Отец и братья Розы много работали, постоянно были заняты – но все их совещания проходили исключительно за дверьми кабинета. Покуда Роза с матушкой и их единственной служанкой готовили обед или занимались шитьем. Это казалось естественным, самым обычным порядком вещей.

В доме же Глебова все важные вопросы, и даже политика, обсуждались прямо при ней! И при Валентине. Хоть та и морщила носик да чаще уходила. Роза же буквально потрясена была таким доверием. Ее считают достойной. Равной. И принимала она это, разумеется, только в положительном ключе: такое отношение ей льстило.

Что до самих разговоров, то она слушала мало. Пыталась вникнуть, конечно, но большая часть усердий уходила, чтобы унять трепет от того, что ей просто позволили здесь быть. И чтобы лицо ее выглядело одухотворенным, вдумчивым, соответствующим их речам. Роза мало слушала и мало понимала, но смотрела на мужчин, на любимого, восхищенными глазами и точно знала, что они необыкновенно умны, просвещены и высоки помыслами. И, увы, что даже ее батюшка

не сравнится с ними, не говоря уже о братьях.

Розе бы хотелось понимать, о чем они говорят, очень хотелось. В порыве она давала себе зарок нынче же вечером начать читать ту книжку Бакунина, что настойчиво рекомендовал Шмуэль. Роза даже брала ее в руки и успевала осилить одну-две страницы – прежде, чем ее начинало клонить в сон. Или же приходила Нюра и уговаривала прочесть вслух хоть небольшой отрывочек из того романа про запретную, но пылкую любовь, про дальние страны и приключения. Нюра тоже очень полюбила те романы, оттого их дружба крепла.

* * *

В доме Глебова все время были люди – его друзья, приятели, какие-то женщины. Роза даже не с первой недели смогла разобрать, кто гостит здесь постоянно, как они со Шмуэлем, а кто лишь навещает. Но вскоре кое-как разобралась, кто есть кто. Валентина – жена Глебова. То ли венчаная, то ли нет – оба они смысла церковному венчанию как будто не придавали. А Глебов, после нескольких опустошенных в веселой компании бутылок шампанского, так и вовсе кричал, что освещенные церковью браки – это пережиток консервативного прошлого, что браки должны кануть в Лету, а мужчине и женщине ничего не мешает быть вместе, если они любят друг друга. Впрочем, если уже не любят, то так же легко и без упреков следует и расставаться, ибо никто друг другу не принадлежит.

Что Розу поразило тогда и оставило неприятный осадок

– Шмуэль вдумчиво, как будто это давно усвоенная истина, кивал в так его словам. Он был с Глебовым согласен в этом вопросе. Молчаливо соглашалась и Валентина, и третий завсегдатай их дружеской компании – господин Лезин, Гершель Иосифович, художник.

Все трое мужчина крепко дружили и, надо думать, знали друг дружку давно. Хотя Роза слабо понимала, что у них может быть общего.

Глебов до ужаса не любил, когда упоминают его графский титул и дворянское происхождение, но был он самым настоящим русским барином. Статный, высокий, русоволосый, тридцати с небольшим лет. Он даже не чурался носить небольшую окладистую бородку, хоть в их среде интеллигентов было принято бриться начисто. Одевался с шиком, вел себя вальяжно и, разумеется, вполне справедливо считался лидером. Осиротел давно уж, а потому никто ему был не указ. Судя же по богатству дома, великолепию сада и невообразимой щедростью, с которой он сорил деньгами, Сергей Андреевич Глебов был еще и сказочно богат.

А еще Глебов владел типографией, писал очерки и иногда стихи. Весьма ладные, только очень скучные: что-то про крестьян и царя.

Шмуэль Гутман, возлюбленный, а теперь и законный муж Розы, был из иудеев. Но не строгий и не упорный в своей вере, как, скажем, дедушка Розы, который все никак не мог простить батюшке, что тот крестился в лютеранской церкви

сам и крестил в ней же своих детей. Перед нею, Розой, бабушка не отчитывался, но сама она разумела, что сделал он это для облегчения ведения дел. Дедушка же это считал самым настоящим предательством, и знаясь с единственным сыном, Яковом Бернштейном, давно уж перестал.

Шмуэль был не таков. Тоже осиротевший: мальчиком его приютила дальняя родня в Петербурге. Но теперь муж с ними связи не поддерживал, не объясняясь с Розой о причинах. Но она знала, что жизнь его была тяжелой и полной лишений. В университет его приняли с третьего, кажется, раза – конечно же только из-за вероисповедания, ведь иудеев допускается принимать в университеты лишь в определенном количестве. Наверняка из-за вероисповедания он был и исключен. Хотя Роза не смела пока что задавать прямых вопросов.

Валентина посмеивалась над нею и ее наивностью, но Роза все равно верила Шмуэлю. Верила, что он сам все ей расскажет о причинах. Или же вернется в университет. Быть может, потому и ей ничего не сказал – что рассчитывает вернуться в самом ближайшем будущем и не хочет беспокоить Розу понапрасну. А Валентина только рада их рассорить!

Роза верила Шмуэлю. И, конечно же, любила его безумно. Шмуэль, может, и не был красавцем, как Глебов: ростом невысок и узок в плечах, волосы имел редкие, и уже начавшие сесть в его неполные тридцать. Но Роза любила его не за красоту.

И Шмуэль, как и Глебов, тоже имел некоторое отношение

к искусству: он увлекался фотографией. Собирал журналы по фототехнике и даже раздобыл где-то настоящий фотографический аппарат, хоть и стоят они огромных денег. Аппарат представлял собою большую металлическую коробку с забавной гармошкой внутри, которую Шмуэль называл «фокусировочный мех». Коробку он носил на широком ремне через плечо и брал ее на прогулки всякий раз, чтобы запечатлеть Розу. Шмуэль и заговорил с нею впервые когда-то, сказав, что у нее необыкновенные глаза, и она непременно должна позировать ему...

Роза и до того знала, что она красива, и не была очень уж падка на комплименты. Однако перед речами Шмуэля, перед его горящим взглядом отчего-то устоять не смогла. И фотографический аппарат, опять же. Такая диковина! Человек, умеющий с ним обращаться, просто не может быть заурядным! У Розы прежде не было ни одной фотокарточки с изображением себя – а теперь их ворох... И разглядывая мутные, черно-белые снимки, глядя на себя глазами Шмуэля, Роза всякий раз почти что с удивлением ловила себя на мысли, что он ведь и правда ее любит. Да, любит.

Что касается третьего завсегдатая мужской компании, господина Лезина, то он был связан с миром искусства напрямую. Гершель Иосифович зарабатывал на жизнь тем, что писал портреты и немного пейзажи. В Музы себе выбрал, разумеется, красавицу Валентину с ее точеным римским профилем, фарфоровой кожей и золотистыми волосами. Но

щедро расточал комплименты и Розе. По правде сказать, именно его Роза считала самым большим повесой в компании и сторонилась. Лезин тоже был из иудеев, но на Шмуэля был совершенно не похож. Высокий, плечистый красавец с черными кудрями и черным же глубоким взглядом. Однако что-то в этом взгляде, в его повадках, в его по-кошачьи неслышных шагах и тихих замечаниях пугало Розу. Заставляло сжиматься все внутри и сводить разговоры на нет, едва он обращался к ней. Из всей компании Лезин, пожалуй, нравился ей меньше всех. Конечно же, не считая Валентины.

Глава 7. Кошкин

Петербургская одиночная тюрьма «Кресты» заведением была уникальным. В только что отстроенную, сюда уже запустили электрическое освещение, наладили мудреную систему вентиляции, а к зиме должны были запустить водяное отопление. Условия, в которых заключенные содержались здесь, были зачастую лучше, чем те, что ждали их дома. Если, конечно, дом у местных обитателей вообще был. А впрочем, тюрьма была для уголовных преступников: абы кого здесь не запирали – следовало «постараться».

– В газетах пишут, наши «Кресты» самая образцовая тюрьма в Европе, – хмыкнул своим мыслям Кошкин, оглядывая через зарешеченное окно просторный тюремный двор с церковью. – И самая большая. Читали, Кирилл Андреевич?

Господин Воробьев налаживал треногу для фотографического аппарата, покуда ждали, когда стражник приведет Йоханнеса Нурминена в допросный кабинет. Ждали уже порядочно времени, и Кошкин – от скуки – сам попытался завязать разговор. Что он за человек, этот Воробьев, Кошкин до сих пор плохо себе представлял. Понял только, что специалист он хороший – но до крайности неразговорчивый.

Воробьев и на прямой вопрос лишь пожал плечами, не ответив даже междометием.

Но и Кошкин сдаваться не собирался: ему с этим госпо-

дином служить бок о бок, в конце концов. Кивнул на фотографический аппарат:

– Трудно ли с этим чудом техники обращаться? – спросил, глядя на сведенные над переносицей брови Воробьева.

Тот снова подал плечами, но ответил на сей раз:

– Не очень. Лишь выдержка нужна, терпение и знания в области химии, чтобы суметь фотокарточки проявить.

– Где вы этому учились?

– На курсах при университете.

– При университете? – снова улыбнулся Кошкин. – Каким же ветром вас, любезный, в полицию занесло после университета?

– А вас? – парировал тот, неожиданно переведя на Кошкина прямой и уверенный взгляд.

Взгляд не был ни угрожающим, ни дерзким, однако ж совершенно точно, что Воробьев его не боялся. Даже тени заискивания в том взгляде не нашлось. Хотя и был он ниже Кошкина по чину да по должности.

Одевался Воробьев только в гражданское, но одевался просто, без намека на какой-либо шик. Но одевался аккуратно, с присущей ему тщательностью. В полиции таковых господ было немного, а потому Кошкину все любопытней делалось, откуда он здесь такой взялся. Словно гимназист со скрипкой в футляре, заблудившийся да по случайности забредший в темную подворотню вместо своей консерватории.

Но за откровенность, вероятно, следовало платить откоро-

венностью.

— Отец ходил в полицейских урядниках, навроде того Антонова из Новой деревне, — изучающе глядя на Воробьева, признался Кошкин — хоть и признавался в том редко. — Сгинул в поножовщине, когда мне и пятнадцати не было. У меня, видите ли, Кирилл Андреевич, и вопросов не вставало, где служить: мать и малолетняя сестра остались, я — единственный кормилец. Приняли на побегушках работать из доброй памяти к отцу — и на том спасибо, вовек не забуду. Потом уж по накатанной пошло. А университет... тут случай помог выслужиться. О Шувалове, наслышаны, небось?

— Я слухов не слушаю, — Воробьев столь же бесстрастно отвел взгляд к своей треноге и вновь начал что-то налаживать и подкручивать.

Ну разумеется, гимназист со скрипочкой никогда не признается, что слушает сплетни. Быть может, кстати, и правда не слушает. Едва ли Воробьев происходил из благородного сословия, но точно был из среды интеллигентов, и низостей даже в пьяном угаре не совершал. Кошкин не сомневался, что история Воробьева на его собственную историю ничуть не походит.

Так и было.

— Что ж, если вам угодно знать, Степан Егорович, то о полицейской службе я никогда не помышлял. Самому странно, что я здесь, — кажется, впервые за время знакомства Воробьев скупой улыбнулся уголком рта. — Меня всегда интересо-

вали естественные науки, химия, прежде всего, за которой, уверяю вас, стоит большое будущее.

Оторвавшись от фотографического аппарата, Воробьев вдруг взглянул на свои руки, заставив и Кошкина обратить внимание.

– Видите?

Пальцы его, сухие, длинные, как и он сам, сплошь были изъедены шрамами, как от ожогов:

– Это все реактивы, – пояснил он, – опасные штуки, не игрушки. – Когда мне было пятнадцать, я поджег дом – случайно, разумеется, – он поправил очки. – Две комнаты выгорело. В расчётах пропорций добавления селитры немного ошибся. Матушка тогда обозлилась и повыбрасывала все мои склянки. Но батюшка ее урезонил и купил в два раза больше всего. А после оплатил мою учебу в университете. Он инженер, весьма уважаемый человек в своей области. – Воробьев вновь глянул на Кошкина. – Считаю нужным заметить, что с тех пор я столь крупных просчетов в формулах не совершал.

– Хочется вам верить... – пробормотал Кошкин.

– Уже после учебы, когда мне предлагали остаться на кафедре, я понял, что пустыми опытами мне заниматься скучно. Я не теоретик, увы. И внезапно выяснилось, что именно при раскрытии уголовных преступлений есть масса возможностей найти применение моим химическим экспериментам. Кроме того, департамент полиции эти эксперимен-

ты еще и финансирует весьма щедро.

Кошкин хмыкнул, кажется, вполне удовлетворенный.

– Что ж, желаю вам удачи на этом поприще. Однако ж, если кроме экспериментов, вас интересует повышение по службе, то раскрытие громкого дела заметно бы этому поспособствовало. Это и, разумеется, женитьба. Департамент полиции по какой-то причине полагает, что женатые люди более благонадежны...

Кошкин вновь хотел усмехнуться – но не стал. Как-то странно Воробьев дернулся при словах о женитьбе. Неловко поправил очки и отвел взгляд. Неожиданно сбивчиво, будто оправдываясь, сказал:

– Я женат. Супруга в отъезде сейчас... гостит у родни.

Кошкин только что видел его руки, и совершенно точно обручального кольца Воробьев не носил. Давно уж: даже следа от него на загоревшей летом коже не нашлось. Но застревать на явно неприятной теме, он, разумеется, не стал – тем более, что со скрежетом провернулся в замочной скважине ключ, и стражник ввел арестанта Йоханнеса Нурминена.

* * *

Садовником Аллы Соболевой оказался статный русоволосый детина лет двадцати пяти с волевым лицом, которые так нравятся женщинам, хмурым взглядом и упрямо сомкнутыми губами. Но на вопросы отвечал исправно и, вроде, не юлил.

– Ей-богу не убивал хозяйку, чем хотите поклянусь, Ваше

благородие, – повторял заученно, но твердо.

Глядел больше в пол, а не на собеседника: Кошкин не мог понять, то ли от стыда он глаз поднять не смеет, то устал уж доказывать сказанное по всем инстанциям.

– Мы с сестрою и дочкой ейной во флигеле живем, он к хозяйскому дому примыкает. Спасибо хозяйке-барыне, жить дозволила и денег за то не брала. Я всем ей обязан, всем! У меня б и рука не поднялась... ей-богу, Ваше благородие... Рано утром в тот день я сестру на вокзал свез... да торопился вернуться: май стоял, работы по саду много. Да только там же, на вокзале, привязалась ко мне цыганка, как банный лист – так и шла за мной, долго шла. Разговорами донимала. Порча, говорит, на мне, злые люди прокляли. Все за руку цеплялась и глазищами своими черными на меня смотрела. А потом... не помню ничего. Очнулся уже в трактире незнакомом. Как туда дошел – вот вам крест, Ваше благородие, не помню! И пьяный в стельку оказался, стыдно сказать... Тотчас до дому и поспешил – а там, на пороге, уж городской дожидается. Арестовали. Сказали, три дня меня не было, по всей столице искали. А сестра давно приехала, и хозяйка, Алла Яковлевна, того... мертвая.

Пока садовник говорил, Кошкин и сам глядел на него хмуро, недоверчиво. Какая-то цыганка еще взялась. Врет или правду говорит? Кошкин бросил пару раз взгляды на Воробьева, но тот эмоций по поводу услышанного не выказывал.

– Как выглядела цыганка? Опишешь?

- Обыкновенно... юбка красная, шаль. Глазищи черные.
- Молодая, старая?
- Старая, в морщинах. Но бежала за мной, как молодая
- шустро.
- С какого вокзала сестру провожал?
- С Финляндского.

Тщательно записав все услышанное в блокнот, выждав время и дав арестанту перевести дух, Кошкин негромко и невзначай спросил вдруг:

- Так, раз ты не помнишь, где трое суток был, что делал – может, все-таки до дому добрался, да и стукнул хозяйку по пьяни? Нечаянно. Могло ведь такое быть?

Арестант, хоть и так смотрел в пол, поник головою еще ниже. Обхватил ее обеими руками так, что аж костяшки пальцев побелели.

- Может, и так... – донеслось от него едва слышное.

Кошкин хорошо понимал, что допрашиваемый на грани, что и сам уж почти верит, что злодеяние он и совершил. Надави Кошкин чуть сильнее, по-настоящему, должно быть, Нурминен и признался бы во всем прямо сейчас. Однако Кошкин не стал этого делать. Отступил. Вместо того, чтоб дожать, перевел тему:

- Ты в самом хозяйском доме часто бывал:
- Приходилось... – отозвался арестант, и сам удивленный, что Кошкин отступил. – Родня к ней навевывалась нечасто, а другой прислуги, кроме нас с сестрой барыня не держала.

Так что я и за садовника, и на все руки – то починить, то приколотить, то печь истопить, то дров натаскать. Дом старый, за ним догляду много надобно.

– Припомни-ка, решетку, что в винный погреб ведет, часто ли запирали?

Арестант крепко задумался. Потом уверенно мотнул головой:

– Да я и вовсе не видал, чтоб решетка заперта была. Алла Яковлевна до вина не охочая, но сынок ее младший часто наведывался, да и друзья-приятели его. Шуму от них всегда много и мусору.

– Часто сынок с приятелями захаживал?

– Раз в пару недель заезжал исправно. Но не предупреждал никогда, как снег на голову. И ненадолго. Что надо заберет – и нет его.

– Еще кто к хозяйке заезжал?

– Дочка заезжала. Та аккуратная, каждую субботу к полудню, как часы. Весь день с матерью просидит, заночует, а поутру, в воскресенье, вместе в церкву едут на коляске. Уж оттуда Алла Яковлевна сама добиралась, на извозчике.

– Своего выезда не держала? – удивился Кошкин.

– Держала... когда надо, я и лошадьми правил. Да только последние полгода уж, с прошлой осени, взялась на извозчике кататься, куда надо. Или ж пешком, если недалеко.

– И часто она вот так выбиралась, в одиночку? – призадумался Кошкин.

– Бывало...

Кошкин сделал пометки в блокноте.

– А старший сын? Заезжал?

– Денис Васильевич? Редко. Денис Васильевич сам в делах все время: если что нужно хозяйке, посыльного отправлял. Но уважал он матушку сильно – а та его. Аж светилась, когда старшой сынок наведывался. Вечно сестре наказывала пирогов готовить столько, сколько и за неделю не съесть.

– А младшим, что же, она не так радовалась?

Арестант, звякнув цепью, развел руками:

– Денис Васильевич – человек серьезный, занятой. А младший ее беспутный малый, уж вы простите меня за прямоту. Одни волнения матери приносил, а друзья его приятели и того хуже.

– А дочка?

– Александра Васильевна? От нее хозяйка уставала шибко. Та сядет подле нее с шитьем и все рассказывает что-то – а Алла Яковлевна только на часы смотрит и вздыхает. Ей бы роман почитать или в окошко поглядеть молча – это барыня любила.

– А отчего бы вслух не попросить дочку роман почитать?

– Алле Яковлевне не нравилось, как та читает. Говорит, что без выражения, без чувства. Александра-то Васильевна, бедная, аж в слезах иной раз, от нее выбегала – так доймают девицу придирами.

– Выходит, с норовом хозяйка твоя была? – прищурил-

ся Кошкин, довольный, что разговорил молчуна. – И к тебе придиралась?

– Ко мне? Нет, Ваше благородие, со мной да с Маарикой ласкова была, слово грубого не скажет. Да и дочку она любила, сердце за нее болело. Каждый раз, как поссорятся, плакала да корила себя, что непутевая мать. Я так разумею, Ваше благородие, Алла Яковлевна утомлялась ее обществом, да и все тут. Александра Васильевна ведь и сама, того... как дитя малое рассуждает.

Кошкин промолчал. Но он прочел достаточно из дневников Аллы Соболевой, а потому весьма справедливо полагал: уж кому-кому, но не этой даме уставать от чьей-то наивности. Хотя, быть может, время меняет людей.

* * *

Тщательно все записав, Кошкин переглянулся с Воробьевым, эмоций которого снова не смог прочесть, и перешел к последнему, наиболее важному вопросу.

– Надпись на стене в садовницкой довелось тебе увидеть?

– Нет... Но говорят, хозяйка там имя мое написала. Кровью, – понуро признался Ганс.

Кошкин без ответа прошел к окну, задумчиво выглянул во внутренний двор и спросил, будто бы озвучил мысли вслух:

– Вот я и думаю все – отчего кровью? Что же, в твоей садовницкой карандаша не нашлось? Или, скажешь, грамоте не обучен?

Обернувшись, он смерил садовника взглядом, уверенный, что на безграмотного чурбана тот не похож. Да и дочка Со-
болевой что-то же в нем разглядела? А дамочка она, может, и
наивная, но глубокая: одной лишь только внешности садов-
ника ей было бы мало, чтоб влюбиться.

– Обучен, – нехотя подтвердил арестант. – Но карандашей
в садовницкой не держал отродясь! К чему? Там только ин-
струмент. И флигель мой рядом совсем, если что писать по-
надобится.

Кошкин кивнул, делая вид, что верит. Спросил последнее:
– Кто это с хозяйкой сотворил, как полагаешь? Если и
впрямь не ты?

И впился в садовника придирчивым взглядом, ожидая,
что тот себя чем-то да выдаст. Ведь и правда – кто, если не
он? Но арестант на сей раз молчал долго. И имен своих по-
дозреваемых не назвал, и однозначно убедиться Кошкину в
своей виновности не позволил.

Ганс уже подписал (не читая) листы протокола допроса, и
Кошкин складывал их в папку, чтобы позже подшить к делу,
когда – впервые с момента появления здесь Ганса – услышал
голос господина Воробьева:

– Степан Егорович, могу ли я задать один вопрос аресто-
ванному?

– Задавайте, – немало удивился Кошкин. Он уж было по-
думал, что Воробьеву это дело ничуть не интересно.

Тот кивнул, одернул полы сюртука внутренне собираясь

и выдавая, что не так уж он хладнокровен, как пытается казаться. Напрямую общался с заключенными господин Воробьев, судя по всему, в первый раз.

— Господин Нурминен, приходилось ли вам что-то жечь в помещении садовницкой?

Вопрос поставил Кошкина в тупик. Он нашел опалённые обрывки письма? Пепел? И молчал до сих пор?

Но садовника вопрос не удивил — его мысли явно были заняты другим, более в его положении насущным. Потому, не раздумывая, мотнул головой:

— Нет, что вы, Ваше благородие. В садовницкой ни оконца, ни форточки: весь дым в хозяйский дом бы потянуло, Маарика, сестра моя, ругаться бы стала.

— А свечи там на что лежат? — усомнился Воробьев. Кошкин молча наблюдал.

— Лежат, да я редко поджигал их, говорю ж. Завсегда лучше светильник масляный. И сподручней, и копоты меньше.

Более Воробьев ничего уточнять не стал, а Кошкин записал дополнительные показания в протокол. Хотел позже, как выйдут из «Крестов», непременно выпросить, к чему это, собственно, было — да тут арестант сам задал вопрос, заставший Кошкина врасплох.

— Ваше благородие... — обратился Ганс негромко и совсем поникнув головой, — тот второй, становой пристав, сказал, что если я чистосердечно признаюсь, будто хозяйку убил, то меня не повесят — на каторгу отправят. Вы как думаете —

признаться?

* * *

Из допросного кабинета Кошкин вышел первым и шагал скоро, размашисто, будто убежать от товарища по службе пытался. Не учел только, что обратно им ехать в одном экипаже, и все равно пришлось Воробьева дожидаться.

Этот парень, Ганс, не был отпетым злодеем, закоренелым преступником и душегубом – уж приходилось Кошкину злодеев повидать за годы службы. Этого Ганса, по правде сказать, не за что было отправлять на виселицу: убийство явно было непреднамеренным. Напился – с кем не бывает – явился на хозяйскую дачу и за каким-то лешим ударил престарелую вдову по голове. Может, в сердцах, может, вообще по случайности. Как проспался, выдумал эту цыганку, мол, зубы заговорила, треклятая. Или не выдумал, а увидел пеструю юбку и сам поверил, что по цыганскому навету злодеяние совершил. И рад бы все вернуть теперь – да поздно. Это молотком разок взмахнуть легко – а разгребать потом до конца дней. А о родне покойника уж что говорить... горе на всю жизнь.

Видел Кошкин такие истории, сотни раз видел.

И парня ему было жаль.

– Почему вы не велели ему признаваться, Степан Егорович? – спросил Воробьев, устроившись в экипаже рядом и велев кучеру трогаться с места. – Очевидно ведь, что это он со вдовою сотворил, да не помнит, потому как пьян был. И

становой пристав правильно ему сказал – а вы ответили.

– Или он не помнит, потому что его там близко не было, – глядя в окно экипажа неохотно отозвался Кошкин.

Там, в допросном кабинете, он так и не сказал садовнику, что делать. Если есть голова на плечах, то должен сам догадаться, что единственный его шанс спасти жизнь – написать признание и во всем помогать следствию. А Кошкин во все это ввязался, по правде сказать, чтобы к Соболеву подступиться – Светлане помочь. Себе помочь. И закрывать дело прежде того, как договорится с Соболевым, ему совершенно не с руки. Жаль парня... Кошкин искренне надеялся, что виселицы тот избежит.

Хотя, нужно думать, вдову убил именно он.

Но выдавать своих мыслей Воробьеву Кошкин не собирался. Как не собирался, покамест, говорить и о дневниках, и о беседе тет-а-тет с Александрой Соболевой.

Кошкин бросил короткий взгляд на Воробьева и лишний раз убедился, что подручный его не дурак. Он глядел недоверчиво и как будто уже догадывался, что начальник его с ним не искренен. Следовало переубедить:

– Это пустой разговор, Кирилл Андреевич. Есть у меня некоторые сведения, что Нурминен может быть вовсе к убийству непричастен. Но спешить с выводами не станем: верить нужно лишь фактам, а это уже к вам вопрос. Выяснили что-то по следам на месте происшествия?

Воробьеву, как оказалось, поделиться и правда было чем.

Уже на Фонтанке, предложив Кошкину отправиться в его кабинет, переоборудованный в самую настоящую лабораторию, тот попросил посмотреть в микроскоп:

– Взгляните, – в голосе Воробьева явно звучала гордость, – прибор фабрики Цейса² с прекрасными апохроматическими объективами.

– И что же я там увижу? – усомнился Кошкин.

– Кровяные тельца, конечно же.

Кошкин был достаточно далек от медицины и химии, однако, посмотрев на Воробьева с сомнением, все-таки приблизился и наклонился к металлическому окуляру. На стекло под ним Воробьев предварительно капнул некую жижу розоватого цвета, и Кошкин сейчас же увидел через объектив бурого цвета бляшки почти идеальной круглой формы. Какие-то в одиночестве застыли в прозрачной жидкости, какие-то слипились в длинные причудливые цепочки.

– Я взял соскобы вещества, которым выведен текст на стене в садовницкой. Растворил в воде – и вот. Как видите, Степан Егорович, с уверенностью можно сказать, что это именно кровяные тельца.

– То есть, это кровь?

– Кровью это было до того, как высохло. А здесь мы видим кровяные тельца, разведенные в жидкости, – с напором уточнил Воробьев. – Кровяные тельца млекопитающего, ес-

² «Карл Цейс» – компания, в то время ведущий производитель микроскопов (прим.)

ли быть точнее. Но не любого млекопитающего, не верблюда и не ламы, например.

– Серьезно? Не верблюда? – Кошкин отлепился от микроскопа и потер глаз.

– Да. Верблюд – тоже млекопитающее, однако, что любопытно, его кровяные тельца совсем не похожи на прочие: они гораздо более вытянуты по форме своей.

– Я бы с вами поспорил, Кирилл Андреевич, о том, что понимать под словом «любопытно»... ну да ладно. Скажите лучше, нет ли какого способа удостовериться, точно ли это кровь человека?

Воробьев мотнул головой:

– Современная наука на это не способна. Итальянские профессора судебной медицины сильно продвинулись, я слышал, однако все пока что на уровне теории. Тем более, что мы имеем дело не с кровью...

– Да-да-да, – отмахнулся Кошкин, – это кровяные тельца, а не кровь.

– Засохшая кровь, если вам угодно, – примирительно закончил Воробьев. – А у вас что же есть сомнения, что это кровь вдовы? Сомнительно, что у нее под рукой нашлась кровь животного. Она была заперта, смею напомнить.

– У меня есть сомнения, что надпись вовсе сделала Алла Соболева, а не тот, кто вошел в садовническую уже после ее смерти и попытался подставить Ганса Нурминена. Вам удалось удостовериться, что это почерк вдовы?

– Нет пока что. В комнатах дома не нашлось записей Аллы Соболевой: мне сказали, все забрала ее дочь.

Кошкин помолчал. У него были дневники вдовы, и в них довольно рукописного текста, чтобы провести экспертизу. Однако отдавать их посторонним он не собирался. Вместо этого распорядился:

– Завтра я еду к Соболевым для беседы с банкиром Денисом Васильевичем. Вы поедете со мной и спросите ее дочь об образцах почерка. Думаю, она вам поможет. Что ж... значит, надпись все же сделана кровью. Впрочем, если в садовницкой и впрямь не были ни карандаша, ни бумаги... – он с упором посмотрел на Воробьева, – или что-то все-таки было?

– Если бы Нурминена хотели подставить, то написали бы его имя более разборчиво, – невозмутимо заметил Воробьев, ровно не слышал вопроса. – А карандаша в садовницкой и правда не нашлось – я везде искал. Но вот бумага...

Воробьев качнулся к полкам и поискав, протянул Кошкину небольшой конверт.

– Так там и правда была бумага, а вы молчали?!

– Не бумага – только пепел, – поправил Воробьев.

В конверте и правда оказался сероватый пепел вперемешку с мусором – больше мусора, чем пепла, по правде сказать.

– Там что-то жгли, – пояснил Воробьев, – и, если жег действительно не Нурминен, то это либо Алла Соболева, либо кто-то другой. Настоящий убийца, возможно.

Кошкин был ошарашен, хоть виду старался не подавать.

До сего момента он не думал всерьез о том, что убийца – не Ганс. А теперь уж сомневался. Кошкин даже запустил пальцы в конверт и удостоверился, что там и правда пепел – чтобы это понять и микроскоп не нужен.

– Похоже, никогда не узнать, что там было написано... – пробормотал он.

– Едва ли там было что-то написано. Это газета, судя по всему: в пепле солидная доля типографской краски.

– Если бы это была просто газета, стоило бы ее жечь?..

– Соглашусь, – пожал плечами Воробьев. – Скорее всего, газета дала бы подсказку. Тем более, что пепел еще и размололи довольно тщательно: я по случайности заметил его следы между плитками на полу.

Кошкин помолчал. Пепел от сожженной газеты, что бы там ни было, это очень веский аргумент в пользу невиновности Нурминена. По крайней мере, в пользу того, что с этим делом не все так просто. Кто сжег газету? Алла Соболева? Горничная, нашедшая труп? Сын вдовы Денис Соболев, который тоже побывал на месте до полиции? Или же там кто-то еще?

– Становой пристав и его подручные ничего в садовничкой не жгли, я уже выяснил, – будто подслушал его мысли Воробьев.

– Вы хорошо поработали, Кирилл Андреевич, – всерьез заметил Кошкин. – Пепел – это отличная зацепка. А что с кольцом?

– Кольцо отлично подходит к серьгам, которые были в ушах Аллы Соболевой, – серьезно, вдумчиво произнес Воробьев. – С большой долей вероятности, они из одного гарнитура.

Воробьев, снова поискав на полках, протянул Кошкину еще один конверт – с увесистым кольцом внутри. Кошкин вынул его, чтобы хорошенько рассмотреть при свете.

– Камень – бриллиант, довольно чистый, насколько я могу судить. Но кольцо без секретов: внутри полостей нет. И на кольце с помощью реактивов я тоже нашел следы засохшей крови. Все говорит о том, что Алла Соболева сама сняла его и для чего-то бросила через решетку под шкаф. Не женщина, а загадка, – заключил Воробьев, убирая конверт с кольцом обратно на полку. – Наверняка и при жизни была занятой особой.

Кошкин не знал, что и сказать. Прежде – из дневников – ему казалось, что госпожа Соболева зауряднейшая из дам. А теперь уж он во всем сомневался.

Глава 8. Саша

Теплая и сухая осень простояла недолго: уже к пятнице зарядили дожди, а в воскресенье по утру пришлось ехать в храм под настоящим ливнем. Зато, когда отстояли молебен, почти внезапно, будто по проведению Господню, дождь кончился, а из-за свинцовых туч показалось солнце. Люся, племянница, заметила радугу первой – яркая, широкая, раскинувшаяся почти над всем Александровским садом, ей и Саша обрадовалась, как дитя. Начала скорее оглядываться, чтобы привлечь внимание Юлии, невестки, и Леночки, но те задержались у ступеней Исаакиевского собора: Юлия встретила подругу.

Саша же, глядя на радугу, на прекрасное воскресное утро, почувствовала вдруг такую легкость, счастье и умиротворение, каких не чувствовала уже давно. Она даже позволила Люсе и Пете немного порезвиться с другими детьми... и это стало роковой ее ошибкой. За детьми Саша не уследила, конечно же, и оба юных Соболева промочили ботинки насквозь. А Петя еще и выпачкал новый сюртучок, что привело Юлию в неопиcуемый гнев – всю дорогу до дому, пока ехали в экипаже, она не уставала пенять на то Саше.

– Ты погляди только, сюртук испорчен! Чулки Люсины и вовсе не выброс, и ботинки сушить! На пять минут нельзя с тобой детей оставить, ты меня слушаешь, Саша?! – горя-

чилась невестка даже дома. — Все в облака витаешь, о чем тебе только думать! А если дети простудятся? Попомни мое слово, Саша, если простудятся и захворают, вовек тебе этого не прощу!

Не глядя на Леночку, Юлия скинула ей на руки свое пальто, как служанке, и продолжила отчитывать Сашу, тоже на нее не глядя, в прочем:

— Ну что стоишь теперь, сопли на кулак наматываешь! Веди скорее в детскую, пускай переодеваются — а ты пока вели для ванны воды истопить, детям отогреться надо. Не дай Бог и правда захворают!

— Не дай Бог... — согласилась Саша и бросилась, было, исполнять, хоть и вела себя с нею невестка неподобающе. Но все потом, сейчас главное — дети. Однако в дверях Саша все-таки задержалась, прикусила губу, уже заранее ненавидя себя за то, что придется это сказать, и что — она знала — придется выслушать в ответ: — Юлия... моя бабушка всегда говорила, что сухое тепло лучше горячей ванны... дозвожь я лучше...

— Много твоя бабушка понимала! — вскричала Юлия и того гневливей. — Свои дети когда появятся, тогда и будешь меня поучать!

— Хорошо, Юлия, прости, пожалуйста...

Больше Саша ничего не сказала невестке, скорее повела Люсю и Петю в детскую, стараясь отвлечься. Сказать хотелось много всего — Юлия не имеет права с ней так разговари-

вать. Никакого права не имеет. Это несправедливо. Это жестоко! Хотя... наверное, она и правда виновата, что позволила детям увлечься игрой и промочить ноги. Оттого Юлия и злится: она хорошая мать, беспокоится о своих детях, а потому в сердцах все это наговорила.

– Она с тобой, как с прислугой обращается. Ты не должна ей этого спускать. Хотя раз за себя постой! – выговаривала Саше потом и Леночка, слышавшая, конечно, разговор от первого до последнего слова.

Саша не знала, что хуже – что Юлия так с ней разговаривает, или, что весь дом слышит, что она с ней *так* разговаривает. Стыдно было невероятно...

– Ты и сама не лучше, Леночка, – тихо упрекнула Саша. – С тобой она разговаривает еще хуже, а ты только улыбаешься и книксен делаешь.

– Так я и не плачу после ночами, как ты, – помолчав, степенно ответила Елена. – И, потом, в этом доме я по рангу и впрямь недалеко ушла от горничной. Даром, что на двух языках говорю, не в пример Юлии Михайловны...

– Тише! – взмолилась Саша, боясь, что их услышат.

– ...но, если не буду ей улыбаться, – продолжила Елена, чуть понизив голос, – мигом лишусь места. Этого я себе позволить не могу, потому и пресмыкаюсь. Но ты!

Саша только отмахнулась, не желая это обсуждать. И, боясь еще и с лучшей подругой рассориться, скорее покинула помещение купальни, где они шептались.

О том, чтобы противостоять Юлии, чтобы возразить ей, Саша и мысли не допускала. Это решительно невозможно! Да и не к чему. Потому как Юлия натура вспыльчивая, но отходчивая. К вечеру она об упреках и не вспомнит, и, быть может, даже позовет ее пить чай в своих комнатах, станет угощать и разговаривать ласково, будто ничего не случилось.

Так уже бывало и не раз. Они с невесткой часто ссорились за это лето, если говорить прямо – куда чаще, чем раньше. Раньше всю субботу и воскресенье Саша проводила у матушки, в Новых деревнях, и с Юлией виделась куда реже. И храм по воскресеньям они с мамой посещали другой – все там было привычным и родным. И отвозил их в этот храм Ганс: Саша бы все на свете отдала, чтобы вернуть хотя бы одно еще такое воскресенье...

Теперь же... грешно так даже думать, но Саша перестала любить воскресенья. Как их полюбить, если каждый раз по дороге из храма они с Юлией ссорятся так, что весь дом на ушах. И как разорвать этот порочный круг, Саша не знала.

...А сегодняшний обычный порядок дел еще и нарушил звонок в дверь. Ладно бы это была одна из многочисленных подруг Юлии, но по размеренным мужским голосам, доносящимся с первого этажа, Саша поняла, что визит был неожиданным даже для невестки.

– Кто там, Дарья? – взволнованно спросила Саша горничную, прикрывающую двери гостиной.

Та лишь отмахнулась и промчалась мимо, как ошпарен-

ная:

– Ох, не до разговоров, Александра Васильевна, кофей велено нести!

Саша вздохнула: где уж тут заполучить уважение невестки, если даже горничные в этом доме ее всерьез не воспринимают. Стараясь не стучать каблуками, Саша сама подошла к двери и тайком прислушалась. Набравшись храбрости, нажала на ручку двери и чуть-чуть ее приоткрыла.

И тотчас Саша узнала голос сыщика Кошкина – того самого, которому отнесла мамины дневники. Зачем он здесь? Боже, неужто выдаст ее Юлии?..

* * *

От страха перестав дышать, слушая, как оглушительно бьется ее сердце, Саша, не мигая, наблюдала за Степаном Егоровичем через дверную щель. Широкий в плечах, высок – пожалуй, одного роста с Гансом. И волосы у Кошкина тоже были светлыми, только причесанными очень тщательно и гладко, как носит ее брат. Пожалуй, что Степан Егорович был по-мужски красив, и даже очень. Только Саше все равно отчего-то казалось, что он глубоко несчастен. Будто печать скорби лежала на его лице и не позволяла разгладиться морщинке между упрямо сведенными бровями. Знать бы, что у него на душе... неужто в этот самый мог Кошкин пересказывает Юлии весь их давешний разговор?

Это ужасно, если это так...

И, будто в подтверждение Сашиных мыслей, в этот самый

миг Юлия чуть-чуть повернула голову – и поймала Сашин взгляд в щели между дверьми. Но не разозлилась. На лице невестки мелькнуло крайне неприятное насмешливое выражение:

– А вот, к слову, и она. Александра, не тушуйся, проходи, – сказала она громко. – Легка на помине – мы как раз говорили о тебе.

Саша вошла, глядя себе под ноги и отчаянно краснея. Она сейчас со стыда готова была провалиться на месте – а невестка то ли не замечала этого, то ли замечала и ликовала, остроумничая и посмеиваясь над ней.

Представить ей мужчин Юлия не посчитала нужным, тем самым и правда ставя ее на одну ступень с горничными – а Саша только и могла молчать, потупив взгляд. Нет, она не принимала происходящее и вовсе не была спокойна: дышала взволнованно и часто, эмоции яростно бушевали в ней, и даже обида вот-вот готова была сорваться с языка. Да только слов Саша как будто не могла подобрать. И от того чувствовала себя еще более глупой, жалкой, беспомощной. Настолько беспомощной, что, казалось, и ноги сейчас откажут ей – подогнутся в коленях, и Саша упадет без чувств.

Если это и правда случится, лучше б ей сразу умереть...

Саша даже вздрогнула, когда помощь, на которую она совсем не рассчитывала, вдруг пришла. И не от Юлии, а от сыщика Степана Егоровича.

Саша, снова перестав дышать, вскинула на него глаза – но

нет, заговорил, сглаживая неловкость, оказывается не он, а второй мужчина, худой и высокий, который, как тень, стоял за спиной Степана Егоровича.

– Позвольте представиться, Александра Васильевна, – тот кашлянул и неловко поклонился ей, – Кирилл Андреевич Воробьев, служащий департамента полиции. Мой коллега, – представил и господина Кошкина, – Степан Егорович Кошкин, чиновник по особым поручениям.

Степан Егорович поклонился тоже, пусть и несколько отстраненно.

– Здравствуйте, господа, присаживайтесь, прошу... – спохватившись и Саша, сообразив, что сама ведет себя неподобающе и невежливо. – Вы и впрямь хотели поговорить со мною?

– Господа из полиции приехали по поводу Аллы Яковлевны, – грубо вмешалась Юлия. – Представь себе, Саша, они сомневаются, что этот садовник... не помню его имени, да он этого и не достоин – что он и правда убил твою мать. Тебе известно что-то по этому поводу, Саша?

Юлия знает. Юлия все знает, – живо сообразила Саша.

Она уж, было, подумала, что сейчас снова лишится дара речи – но потом поняла, что надобно сказать правду. Что ей скрывать, в конце концов?!

Саша набрала в легкие побольше воздуха – но на этот раз действительно вмешался Кошкин.

– Александра Васильевна, могу я попросить вас, в рамках

расследования, передать моему коллеге образцы почерка вашей матери. Письма, записки – что угодно. Кроме того, мне необходимо поговорить с Юлией Михайловной наедине.

Саша беспомощно кивнула. Кошкин, кажется, не хотел, чтобы Саша говорила правду. Он и приехал, наверное, не для того, чтобы ябедничать о ней, как гимназист – Боже, как глупо было это предположить...

Этот второй, Кирилл Андреевич, вызывал почему-то гораздо меньше страха, Саша даже вполне взяла себя в руки, пока вела его в библиотеку. Ее комнаты, где и хранились записи мамы, были совсем рядом – но не приглашать же мужчину внутрь? Пока поднимались по лестнице, Саша сумела даже расхрабриться настолько, что спросила, хорошо ли они доехали и не промокли ли под дождем? А Кирилл Андреевич ответил вполне галантно – и вдруг попытался ей посочувствовать.

– Нелегко, наверное, ужитья в одном доме двум хозяйкам? – спросил он невзначай.

– Не понимаю, о чем вы... – тотчас замкнулась Саша. – Юлия Михайловна прекрасная женщина, мы с ней очень дружим... и поверьте, она любит меня, как сестру.

Выносить сор из дома нельзя – это правило Саша еще от бабушки запомнила, и каждый из Соболевых чтит его, прекрасно понимая, что друзей за пределами семьи у них нет. Этот сыщик в самом деле надеется, что она станет жаловаться ему на невестку?

– Будьте добры, подождите здесь, – Саша указала Воробьеву на кресло в библиотеке. Замешкалась: – господин Кошкин просил, чтобы я передала вам именно дневники мамы или подойдут любые ее записи?

Воробьев в ответ вскинул брови. Уточнил:

– Так ваша матушка вела дневники?

Господи Боже, конечно, Кошкин не говорил ему о дневниках – ведь она сама его просила не распространяться! Снова Саша кляла себя за глупость и готова была провалиться на месте. Ответив что-то невнятное, она скорее убежала к себе – и вышла только через пару минут, сумев, как ей показалось, полностью успокоиться, и неся в руках несколько маминых писем – длинных, как всегда, но с пустым, неважным содержанием. Саша могла только молиться, чтобы Воробьев не заострил внимание на ее фразе о дневниках.

Он как будто и не заострил. Поблагодарил ее за письма, мельком их проглядывая, и только теперь Саша заинтересовалась, для чего им вовсе нужны образцы маминого почерка.

– Неужели господин Кошкин сомневается, что эту... надпись на стене сделала мама? – догадалась она.

Тот пожал плечами, не став лукавить:

– Господин Кошкин, кажется, вовсе сомневается, что убийство совершил садовник.

– И он прав, это действительно сделал не Ганс! Не подумайте, будто я выгораживаю его, но... Ганс просто не мог этого сделать!

– Вы хорошо знаете, должно быть, господина Нурминена?

– Достаточно хорошо... – отозвалась Саша, невольно отведя взгляд. – Я навещала маму на ее даче каждую субботу, а по воскресеньям Ганс отвозил нас в церковь.

Воробьев вдумчиво кивнул, будто все это уже знает, и Саша сообразила, что они с Кошкиным успели допросить Ганса – тот сам им все и рассказал. Сыщик ее догадку подтвердил:

– Да, господин Нурминен говорил об этом. Только он упомянул, что последние полгода, кажется, Алла Яковлевна, ваша матушка, чаще брала извозчика для поездок в церковь.

– Это так, – нехотя признала Саша.

– Алла Яковлевна не говорила с вами о причине? Быть может, она назначала встречи с кем-то, после посещения храма, и не хотела, чтобы ее садовник знал об этом?

– Нет-нет, дело не в том, что она скрывалась от Ганса...

– Саша хмурилась, потому что каким-то невероятным образом виновным снова казался Ганс.

Однако этот сыщик внезапно подошел слишком близко к тому, о чем, она надеялась, догадается Кошкин, прочтя дневники. То, с кем мама встречалась, выйдя из церкви, было ключевым моментом. Только говорить об этом кому-то, кроме Кошкина, наверное, не стоит.

Или стоит...

Саша вновь была полна сомнений, даже, едва ли не в первые, подняла прямой взгляд на Воробьева. Глаза за стеклами очков у него были ясными и мудрыми, понимающими. И

все-таки не стоит говорить ему о дневниках – ведь именно в них маминой рукой написано, с кем она встречалась после церкви и для чего. Лидия Гавриловна велела ей довериться Кошкину – не Воробьеву. Так тому и быть. В конце концов, если Кошкин посчитает нужным, то сам поделится с товарищем.

– Матушка не хотела надолго отрывать Ганса от работы в саду... я думаю, в этом все дело, а не в том, будто она что-то скрывала от своего садовника, – взяв себя в руки, вполне ровно ответила Саша.

Воробьев, кажется, поверил, кивнул. Но заметил:

– Вы видели господина Нурминена только в роли кучера, и видели весьма редко – когда она правил коляской полгода назад. Выходит, вы знаете его немногим больше, чем, скажем, Юлия Михайловна.

Это было правдой. Последние полгода уж точно Саша видела его только издали в саду.

– И все же я будто сердцем его знаю, – призналась она на удивление легко. – И мое сердце говорит, что Ганс не мог причинить никому зла. Тем более, маме.

Саша слишком поздно отругала себя за неуместную откровенность и прикусила губу. Украдкой посмотрела на Воробьева – что тот скажет?

А тот вздохнул, как-то очень нелегко. Будто и впрямь понял ее.

– Сердцу не всегда стоит доверять, Александра Васильев-

на. Не все люди честны и бесхитростны: некоторые, почуяв слабость, нарочно пробираются в сердце из своих соображений, а потом причиняют боль.

— Конечно, я понимаю, что верить можно не всем... — спохватилась Саша, поняв, что слишком долго на него смотрит. — Но Гансу я верю. И думаю, что знаю его достаточно, чтобы верить, — в глубине коридора уже послышались шаги, а потому Саша понизила голос до шепота и торопливо договорила: — Помогите ему, Кирилл Андреевич... Богом молю, помогите!

* * *

Когда оба сыщика уезжали, Саша долго смотрела им вслед из большого витражного окна в библиотеке и чувствовала такую сжигающую душу тоску, что ее глаза опять были на мокром месте. Но Саша сделала над собой усилие: насухо вытерла их платочком, вдохнула поглубже и сама себе пообещала, что станет держать себя в руках. Ради успеха всего своего авантюрного предприятия. Ради Ганса. Ради памяти мамы. Ради себя самой, в конце концов. Ведь плакать бесполезно — никто к ней не придет на выручку. Или сама выдюжит, или погибнет.

Странное дело: что батюшка, что, позже, братья, всегда твердили, что им, Соболевым, нужно держаться вместе. Что друзей у них нет, и что мир за пределами этого дома крайне враждебен. И, право, для таких суждений были причины, но... сейчас Саша как никогда чувствовала себя одинокой в

собственной семье. Вынужденной почему-то обороняться – без конца обороняться и врать. Наваждение ли то, но даже двое этих полицейских, о которых она ничего не знала, кроме имен, казались ей сейчас большими защитниками, чем члены семьи. Чем даже братья.

Нет, Саша ничуть не жалела, что послушалась Лидию Гавриловну, доверилась ей и господину Кошкину. Отчасти еще и потому не жалела, что хотела совершить этот маленький бунт. Хотя и знала в глубине души, что в какой-то момент о сделанном пожалеет...

Послышались шаги на лестнице – вальяжные, тяжелые, неторопливые. Так всегда шла Юлия, если вообще шла, а не вызывала к себе, что делала гораздо чаще. Если не посылает за Сашей горничную, а идет сама, стало быть, не хочет, чтобы о разговоре знала прислуга...

Саша разволновалась еще больше. Зная властный, скандальный характер невестки, зная свою чувствительность, уже догадывалась, что будет сегодня плакать. Молилась хотя бы о том, чтобы расплакаться после, как Юлия уйдет – а не при ней.

Но расплакаться придется точно.

– Ну так что? – громко и властно, прямо с порога, начала Юлия. – Что ты ему рассказала, дорогая сестрица? Выкладывай немедленно!

Саше даже за оконную раму пришлось удержаться руками, чтобы стоять ровно и уверенно. Повернулась к невестке

она медленно и, хоть сердце стучало, кажется, в ушах, пыталась казаться храброй.

– Кириллу Андреевичу? Что я могла ему сказать? Лишь отдала тетради матушки, как он и просил – вот и все.

Саша накрепко сцепила руки в замок, чтобы не так видно было, как они трясутся. Но Юлию, конечно, не проведешь. Она прищурилась, ловя ее на лжи:

– А почему ж на тебе лица нет? – И голос невестки медленно, но верно стал переходить на мерзкий отвратительный крик. – Ты опять несла эту чушь, будто твою мать убил не этот выродок?!

– Не называй его так... – голос Саши все же дрогнул. – И нет, ничего такого я не говорила, Денис ведь запретил...

– Врешь! – перебила Юлия, и лицо ее начало покрываться красными пятнами. – Ух, как же ты мне надоела! Что ты, что матушка твоя. Нахлебницы! Привыкли за чужой счет жить!

Юлия кричала, а ее лицо было теперь красным настолько, что в какой-то момент Саша испугалась, будто ту хватит удар. И вдруг она будто увидела все со стороны – и себя, и невестку, и всю эту отвратительную сцену. И с удивлением обнаружила, что держится куда лучше Юлии – что невестка вот-вот свалится с приступом, а Саша... Саша даже чуть улыбнулась. Потому что нынче, в этом разговоре, услышала самое страшное, что думала когда-нибудь услышать, что вообще могла себе вообразить и – ничего не произошло. Небеса не разверзлись, а она сама не провалилась в геенну огнен-

ную. Ведь слова это только слова.

«Слова – ветер», – что-то такое говорила баббе-Бейла.

А Юлия, то ли прокричавши, то ли сама устыдившись того, что произнесла вслух, вдруг замолчала. Все еще тяжело дыша, ступая тяжело и грузно, подошла к столу, налила себе из графина. Выпила воду жадно и залпом. Пока она пила, Саша, чувствуя себя почему-то на удивление спокойной, за просто произнесла:

– Я родилась и выросла в этом доме, Юлия. Но ты права, нынче ты здесь хозяйка. А я могу собраться и уйти сию же секунду – если Денис этого захочет. А он едва ли захочет, уж поверь.

– Да, радуйся, Денис тебя любит, – зло выплюнула невестка. – Не то б давно уже работать пошла, бездельница неблагодарная. Брат любит тебя, а ты ни его не ценишь, ни покойную мать не чтишь! Подумать только, этот выродок, замучил, убил твою собственную мать, а ты хлопчешь за него! Надеешься, что он в благодарность опосля тебя порадует?! Наивная старая дура!

– Может быть и старая, но ты, дорогая сестра, на десять лет меня старше.

И снова лицо Юлии пошло красными пятнами: такого ей слышать еще не приходилось. Ни от кого! Не то что, что от кроткой золовки.

Юлия уж было открыла рот, чтобы выплюнуть что-то еще более мерзкое – но за окном послышался отчетливый скре-

жет ворот. Снова кто-то приехал. Обе они ринулись к окну – это оказался Денис. Получается, они совсем немного со Степаном Егоровичем разминулись, а ведь тот приезжал, несомненно, чтобы с хозяином дома увидеться. Досадно...

Невестка резко замолчала. Бросила на Сашу лишь один испепеляющий взгляд и поторопилась вниз, нацепив на лицо приветственную маску.

А Саша осталась, где стояла. Она только сейчас почувствовала невероятную тяжесть во всем теле. Ноги – будто свинцом налиты, а руки и все тело ее не просто дрожали. Сашу трясло, будто она мячик, который малые дети кидают друг дружке. Словно изнутри что-то рвется. Словно все, что скопилось в ней за годы страха и унижений хочет разодрать кожу да выбраться наружу. А что будет, когда вырвется... Саша даже представить себе не могла. Но неожиданно поймала себя на мысли, что дрожь эта ей приятна.

Час спустя Саша даже переоделась в нарядное и вышла к ужину, хотя прежде делать этого не планировала – аппетита не было совсем. Да и невестка уж точно ее не ждала после давешней ссоры.

За столом сидели только они трое: дети с Леночкой всегда ужинали на детской половине, а появление за трапезой брата Николаши было, скорее, исключением, чем правилом. В редких случаях он присылал записку, по какой причине отсутствует, но чаще обходился без нее, все уж привыкли.

Денис же ужинал только дома. Клубов и компаний он не

любил, а жили Соболевы настолько тихо и уединенно, что особенно и некому было звать их в гости. Были, разумеется, многочисленные подружки и родственницы Юлии, однако, по негласному правилу, все они должны были убираться из дома к приходу главы семейства.

Сашу, впрочем, это вполне устраивало. Подруг Юлии она тоже не любила, как и шумных сборищ. Да, приемы будоражили, волновали, вносили некоторое развлечение и разнообразие в серые будни – но всего на один вечер. А все остальное время до них и после Саша пребывала в бесконечном страхе и беспокойстве – не слишком ли вульгарно она одета на празднике, не слишком ли скромна; как примут ее и примут ли вообще; а вдруг она скажет или сделает что-то не то?! Саша плохо была обучена вести себя в обществе, а потому промахов допускала множество – это только те, которые она замечала. Нет уж, не настолько приятны те крохи веселья, что испытывает она на вечерах, чтобы, ради них, столько мучиться.

Лучше провести дело с пользой, почитав детям или занявшись шитьем. Николаша так не думает, конечно, но славно, что она и Денис в этом вопросе схожи.

Войдя в столовую в голубом расшитом стеклярусом платье с огромными рукавами-буфами, Саша сходу, не глядя на невестку, обняла за шею брата. Привычно поцеловала в щеку:

– Что в банке, Деня? Устал? Я будто сто лет тебя не виде-

ла, ужасно соскучилась.

– Очень устал, Сашенька. – Денис, привстав, в ответ поцеловал ее руку и помог устроиться подле себя. – И проголодался. Ты уж прости, мы начали без тебя: Юлия сказала, тебе нездоровится.

– Юлии показалось, – улыбнулась ему Саша.

Невестка, сверля ее взглядом, сидела напротив и комкала в руках салфетку.

– Должно быть, и правда показалось, – громко ответила она. – Но это и немудрено: я сама едва сохраняю рассудок. Сашенька не сказала тебе, Денис, но нынче к нам приезжала полиция. В твой дом, представь себе. И стараниями Саши – уж не знаю, что она им наговорила – полиция собирается выпустить на свободу этого... выродка, который убил твою мать!

Денис, изменившись в лице, тотчас вскинул глаза на Сашу:

– Это правда?

Саша почувствовала, что бледнеет. Напрасно все же она вышла к ужину – доказывать что-то сейчас и брату у нее просто не осталось сил.

– Я... я ни о чем таком не знаю. Полиция ведет следствие, вот и все. Разумеется, они говорили со мной, но я не сказала ничего, что могло бы навредить нашей семье...

Саша сбилась и отвела глаза, как часто с ней бывало под прямым строгим взглядом старшего брата. Сейчас она в са-

мом деле сомневалась, что сделала все правильно. Неужто она и правда подвела семью?

Взяв себя в руки, Саша заставила себя вновь посмотреть на Дениса. Слава богу, он не сердился. Напротив, видя состояние сестры, ласково погладил ее руку:

– Ну-ну, милая. Все хорошо. Отчего ты не ешь? Курица прекрасно приготовлена.

– Я не голодна, Деня... Может быть, мне и впрямь нездоровится.

Юлия громко и совершенно неприлично фыркнула:

– Нemoщность далеко не всем к лицу. Нездоровится – так сидела б в комнате!..

– Прекрати, – не повышая голоса, но так, что даже у Саши леденело все внутри, оборвал Денис жену. – Будь добра, побереги свой скандальный тон для подобающей компании. Уже не раз просил тебя, Юлия, не говори так с Александрой.

– Изволь, Денис, но другого тона у меня для твоей сестры нет! Слышал бы ты...

– Юлия! – Денис все-таки повысил голос, и Саша даже зажмурилась от ужаса.

– Что ж... курица и правда прекрасно приготовлена, – слащаво отозвалась невестка. – Не буду мешать вам с Александрой ею наслаждаться!

Саша услышала, как невестка щелкнула пальцами, подзывая лакея, тот помог ей отодвинуть стул и подняться. Напоследок Юлия швырнула что-то на стол, видимо салфетку –

зазвенела посуда, и ее цокот ее каблуков стих у двери.

Саша открыла глаза и со страхом посмотрела на брата. Тот устало качал головой.

– Как перед слугами стыдно... – чуть слышно прошептала Саша.

Порой Юлия вела себя настолько безобразно, что это в голове не укладывалось. Как только угораздило Дениса на ней жениться? А впрочем, их сговорили давным-давно, еще по воле батюшки, и едва ли кто-то спрашивал мнения самого Дениса. Юлия была дочерью купца третьей гильдии, за ней давали недурное приданое и, кажется, ее отец имел некоторые связи. Ни умом, ни внешностью, ни, тем более, воспитанием, невестка не блистала.

Слава богу, Люся с Петей совсем на нее не похожи – они славные крошки.

И слава богу, что батюшка не успел точно так же сговорить и ее за первый попавшийся мешок с деньгами да связями. Грешно так думать, но Саша бы просто не выдержала, если б ей в супруги достался кто-то, похожий манерами на ее невестку...

Погрузившись в свои переживания, Саша даже не сразу заметила, как Денис в тишине столовой придвинул к ней маленький сверток из бумаги

– Что это? – удивилась Саша.

– Для тебя припас, милая. У тебя ведь в июле именины были, а я позабыл – закрутился. Открой.

Для семейства Соболевых все лето прошло как в тумане после случившегося на даче. Какие уж тут именины? Саша, пораженная, обрадованная, восхищенная, что брат помнит, поспешила распаковать сверток и в голос ахнула: внутри была премиленькая брошка с самоцветами.

– Деня, как красиво... я Люсе отдам, ты не против? Ей ужасно понравится!

– Нет уж, я против. Люсю я и так не обижу, не сомневайся, а ты себя совсем не балуешь. Заперлась в этом доме, как в темнице, и заживо себя похоронила.

Саша только тяжело вздохнула, не зная, что и сказать. А Денис настойчиво поймал ее взгляд. Тоже вздохнул, погладив по руке:

– Мы ведь с тобой почти не говорили после смерти мамы...

И тут у Саши будто рычажок кто-то переключил: все ее слезы, сдержанные за день, хлынули одним сплошным ручьем. Не выдержав, она уткнулась лицом в плечо брата, разрыдавшись горько и безутешно:

– Ты прав, Деня, как же ты прав... – бессвязно бормотала она, хлюпая носом. – Мы так отделились... и Николашу не видим совсем. И ты теперь так резко говоришь о Гансе, об этом всем... что я совершенно перестала тебя узнавать! Ты словно чужой! И даже Юлия раньше такой как будто не было, а сейчас... сейчас... я только теперь поняла, почему матушка все время была в Новой деревне и не жила у нас.

Все из-за нее! Из-за Юлии!

– Ну-ну, милая, будет, – насилу утихомирил ее Денис. И все-таки вступился за жену. – Случившееся всех нас выбило из колеи, не только тебя. А Юлия – она еще и оттого себя так ведет, что боится за детей. И за всех нас. Право, не знаю, имеют ли ее страхи основание, но она полагает, что, если этого... человека и правда выпустят, то он станет нам мстить.

Саша хлюпнула носом, удивлено воззрившись на брата. Что он говорит такое?

– Ты была мала тогда, Саша, а Юлия помнит все прекрасно. Оттого и боится. За нас, за детей. Пойми ее и не суди строго.

А пока Саша обдумывала услышанное, сказал главное:

– Я знаю, что ты говорила полицейским, будто Ганс невиновен. Я не зол на тебя, не думай. Но мне досадно, что ты стала обсуждать это с какими-то посторонними людьми из полиции, а не со мной.

– Я пыталась, Деня... – слабо возразила Саша, – но ты ведь и слышать не хотел... Я подумала, что...

– ...что эти люди поймут тебя лучше, чем я? – прохладно закончил ее мысль Денис. – Едва ли. Зато теперь эти двое, а значит и вся полиция, знает, что в доме Соболевых не все гладко. Что мы все перессорились, не успело тело нашей матери остыть.

Денис замолчал теперь надолго, должно быть, ему и

впрямь горько было осознавать все это. Молчала и Саша, обессиленно глядя на угол стола и едва ли не впервые допуская мысль — а что, если Ганс и правда виноват? И даже если это не так — а это, конечно, не так — возможно, стоило хотя бы сказать о дневниках Денису. Быть чуть настойчивей. Ведь получилось же у нее сегодня противостоять Юлии? Наверняка однажды вышло бы и убедить брата.

Но теперь уж поздно об этом думать... Неужто она в самом деле это сделала? Предала семью.

Саша вздрогнула, когда Денис заговорил снова:

— Наш отец умер, когда ты была совсем девочкой, и перед смертью просил меня — умолял — заботиться о тебе и о Николае. И я заботился. Не всегда это получалось хорошо, но, право, я старался как мог. Больно осознавать, Саша, что у меня так и не вышло сделать тебя счастливой. Юлия сказала мне, ты не хочешь больше заботиться о Люсе с Петей, а хочешь жить своим домом. Это правда?

Сашу словно обухом по голове ударили: как могла только невестка так перевернуть весь их разговор?!

— Нет, что ты... — пробормотала она. — Юлия не так все поняла!

Но Денис как будто не поверил:

— Отец наказал мне по своему усмотрению распоряжаться твоей частью наследства, пока ты не выйдешь замуж. Но, пожалуй, ты теперь достаточно взрослая и разумная, Александра, чтобы управляться со своей долей самой.

Саша готова была лишиться чувств – однако вскочила на ноги, бросилась к брату и схватила его руку с мольбой:

– Деня, миленький, не поступай так, прошу! Не выгоняй из дому, не разлучай с племянниками... я не выдержу этого, ей-богу... я не справлюсь без тебя!

Денис безжалостно вытянул руку, даже отвернулся. И холодно добил:

– Справишься. Я давно об этом думал, а сегодняшняя ваша ссора с Юлией окончательно все решила. Раз ужиться вы не можете... прости, но предпочесть тебя жене я не имею права. И, потом, что тебе проку от меня, раз ты сама говоришь, что я будто тебе чужой? Раз ты мне не веришь даже?

Саша беззвучно плакала, пока у нее внутри все обрывалось, словно лопнувшие струны. Денис, должно быть, заметил это ее состояние и немного смягчился:

– И я не бросаю тебя, разумеется. Ты по-прежнему моя сестра, а я твой брат – и всегда буду защищать тебя. Доверять же мне или нет – дело только твое. Я бы все отдал, чтобы твое доверие завоевать, но... – со вздохом он сам вытер Сашин слезы со щеки своим пальцем. – Не плачь, Сашенька. На неделе позову к нам нотариуса, чтобы решить, как все устроить лучше для тебя. И помирись, ради бога, с Юлией.

И Денис ушел.

Уже практически скрылся за дверью столовой, когда Саша, сама не понимая зачем, вдруг его остановила:

– Денис! – голос дрогнул. – Я сделала кое-что ужасное.

Я отдала господину Кошкину, полицейскому, мамины дневники.

Глава 9. Кошкин

– Степан Егорович, вы и впрямь полагаете, будто этот малый, садовник Нурминен, невиновен? Или это какая-то уловка, смысл которой я постигнуть не могу?

Кошкин поморщился:

– Кирилл Андреевич, ранний час, я еще не соображаю толком, а вы уже допрос с пристрастием стремитесь учинить... Хорошее начинание, коллега, но, ради Бога, применяйте его к подозреваемым, а не к начальству.

Воробьев был серьезен, как никогда: губы плотно сомкнуты, носогубные складки резки, а глаза спрятаны за стеклами очков, отражающими свет из окна, а потому не видимые Кошкину. И все-таки Кошкин ответ взгляд, явно ощущая неудобство от этого вопроса. У него всегда плохо выходило скрывать мысли. И все-таки откровенничать с Воробьевым по поводу Соболевых он не собирался – сейчас, по крайней мере.

– Вы по делу, Воробьев? Или посплетничать заглянули? – добавил он в голос железных ноток.

Воробьев тотчас пошел на попятную: поправил очки, и теперь стало очевидно, что коллега не столько грозен, сколько растерян.

– Александра Васильевна вчера обмолвилась о неких дневниках, которые вела ее мать, – объяснился он, – вам что-

то известно об этом?

Кошкин промолчал, глядя на него тяжело и испытующе.

Опыта в допросах у Воробьева явно было поменьше, потому он сбился и растерялся еще больше. Неловко кашлянул, снова поправил очки и объяснился снова:

– Степан Егорович, видите ли, если эти дневники и правда существуют, в них ведь может обнаружиться что-то, что приведет нас к разгадке.

Кошкин с деланой утомленностью вздохнул:

– Вы только за этим пришли, Воробьев, или у вас есть что-то по исследованию почерка покойной?

– Да, есть конечно... – Воробьев спохватился и подскокил к Кошкину, разворачивая перед ним свою папку. – Однако ничего интересного: с высокой степенью вероятности надпись кровью на стене сделала сама вдова Соболева.

Он разложил перед Кошкин фотокарточки с черными буквами, выведенными на шершавой стене. «Меня убиват Г...» – снова прочел Кошкин, гадая, что бы это значило. Но Воробьев времени на раздумья не дал. Подсунул подшивку с письмами Аллы Соболевой, и, показывая тупым концом карандаша, принялся объяснять:

– Особенно на первом слове «Меня» очень хорошо заметно, что писал один и тот же человек. Видите? Соотношение заглавной «М» к строчным буквам такое же, как в письмах. А «я» так и вовсе аналогичная. Это несомненно писала сама вдова!

– Это я и без вас вижу, Воробьев, – отмахнулся Кошкин. – Скажите лучше, вот это «Г...», что в конце, тоже она написала? Или следом кто пришел и дописал, ее же пальцем?

– Что ж... должен заметить, это не просто «Г..» – за нею определенно идет литтера «у». Дальше неразборчиво, но с огромной вероятностью, вдова написала «Гу...». – Воробьев снова начал показывать на строчки в письмах. – Видите? Здесь и здесь – такие же точно «у». И вот еще что – обязан обратить ваше внимание – нажим при написании этих двух букв был ровно такой же, как и при написании предыдущих. Такая же толщина, такой же наклон. Время написания, я практически уверен, тоже одно.

– Хотите сказать, Кирилл Андреевич, это «Гу...» Соболева писала не в последние мгновения жизни, а вполне намеренно оборвал их вот так?.. Намеренно не стала дописывать?

– Полагаю, что да, – вкрадчиво кивнул Воробьев.

Кошкин крепко задумался.

– Вдова опасалась, что, уже после ее смерти, в садовническую кто-то вошел бы и уничтожил надпись, если бы та его выдавала, – вслух пробормотал Кошкин. – Но это «Гу...», видать, убийцу не выдавало совершенно – потому она не опасалась. Что же тогда Алла Соболева хотела сказать этим «Гу...»? Кирилл Андреевич, позвольте, вы уверены, что часть слова все-таки не стерта убийцей?

Воробьев отчетливо кивнул:

– Готов в этом поклясться: царапин на стене нет. Да и ме-

ста для написания там маловато. Вдова как будто и не соби-
ралась оставлять послание о том, кто ее убил. Она сделала
лишь подсказку – и почему-то полагала, что мы сразу пой-
мем все прочее.

– Вдова была лучшего о нас мнения... – поморщился,
недовольный собой, Кошкин. – Или мы что-то упускаем. Ки-
рилл Андреевич, то кольцо с алмазом при вас?

– Нет... осталось в лаборатории. Если нужно, сейчас же
принесу.

– Будьте так добры.

Воробьев, собрав бумаги, откланялся, было, но, уже в две-
рях, резко обернулся и, снова глядя недобро, хмуро, завел
прежнюю шарманку:

– Эта женщина, Александра Васильевна, она безумно до-
верчива. Как дитя. Я, право, и не думал, что такие еще оста-
лись в наш жестокий век. Нехорошо обманывать ее доверие.

– Не знаю, как вы, Кирилл Андреевич, – столь же хмуро
ответил ему Кошкин, – но я намереваюсь найти убийцу ее
матери, а не обманывать ее доверие. У вас все?

Воробьев кивнул, немного смущенный. Снова повернулся
к дверям – но столкнулся с секретарем Кошкина нос к носу.

– Степан Егорович, к вам посетитель, – доложил тот, про-
пуская Воробьева. – Просили передать карточку.

Кошкин никого не ждал в этот час, и, гадая, кто бы это
мог быть, принял солидного вида бумажный прямоугольник.
Плотная бумага с оттиском. Размашистая надпись «Банкир-

скій домъ Соболевыхъ» с одной стороны и скромная «Денисъ Васильевичъ Соболевъ» с другой. Кошкин невольно подобрался, пятерней пригладил волосы – и наткнулся на вопрошительный взгляд Воробьева, все еще застрявшего в дверях.

– Я просил вас принести кольцо, Кирилл Андреевич, – напомнил Кошкин с холодком.

Тот спорить не стал, исчез, наконец.

* * *

Господин Соболев Денис Васильевич оказался несколько старше, чем ожидал увидеть Кошкин. Ему уж за сорок, должно быть. Худошав, одет подчеркнуто аккуратно, но без особенного лоска, присущего людям его круга. Лицо строгое, худое, будто иссушенное, с аккуратной бородкой, что тоже навевало мысли о десятке лишних лет. На голове банкира в темно-каштановых волосах виднелась крупная залысина, которую, впрочем, тот и не старался скрыть. Глаза же были безмерно уставшими, но острыми, внимательными и подмечающими всё и вся.

– Не стану скрывать, я был расстроен, что не застал вас вчера, господин Соболев... – Кошкин чувствовал себя не очень уверенным, приветствуя посетителя. Еще и оттого, что визита банкира совсем не ждал, и как тот поведет разговор, тоже не представлял. – Так чем я могу быть полезен?

– Полагаю, вы и сами знаете, чем можете быть полезны мне и моей семье? – ровно ответил Соболев, не сводя с него испытующего взгляда.

Однозначно он явился не для того, чтобы поспособствовать расследованию...

Соболев сидел в кресле для посетителей напротив Кошкина, устроившись там вальяжно, закинув ноги на ногу, небрежно бросив на колено шляпу и постукивая по полу лакированной тростью. Явно тяжелой, с металлическим стержнем внутри. Кошкин нехотая припомнил, что в таких тростях мужчины, которым не по статусу носить с собой револьвер, держат оружие, наподобие рапиры. Иногда даже нечто огнестрельное.

Играть с этим человеком было опасно, и все же с головой выдать Александру Соболеву Кошкину не позволил недавний упрек коллеги Воробьева. Она и впрямь ему доверилась, как-никак. Ответил, выдерживая режущий, изучающий взгляд:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.